



**АНАТОЛИЙ
ВИНОГРАДОВ
ПОВЕСТЬ
О БРАТЬЯХ
ТУРГЕНЕВЫХ**

Анатолий Виноградов
Повесть о братьях Тургеневых

«СОЮЗ»

2023

Виноградов А. К.

Повесть о братьях Тургеневых / А. К. Виноградов — «СОЮЗ»,
2023

ISBN 978-5-60-501260-3

Семья – отец, мать и четыре сына Тургеневы впервые становятся объектом исторического романа. Каждый из персонажей по-своему интересен, но, конечно, наиболее яркой фигурой, с точки зрения исторической ценности, является Николай. Он стал в молодые годы «преступником царской России» и пережил на своем большом сложном и интересном пути всех братьев, его судьба, выступила в этой повести на передний план. Николай Тургенев родился в трагический 1789 год, когда грянул освежающий гром Великой французской революции – молодая буржуазия, свергнув дворянство руками трудящихся, сама становилась у власти, а умер в 1871 году, когда окрепший пролетариат Парижа впервые в открытом бою сделал попытку отнятия власти у буржуазии. Чрезвычайно интересна судьба Николая Тургенева и его брата Александра – двух растений, сорванных с родной почвы разливом великих исторических рек и проведших цветущие свои годы «без корней у чужих берегов». Не потому ли их судьба при всей яркой и пестрой прихотливости была судьбой почти бесплодных растений – глубоко трагической судьбой добровольных изгнанников, скитавшихся под зноем и дождями европейской погоды XIX века? Обо всем этом в книге «Повесть о братьях Тургеневых».

ISBN 978-5-60-501260-3

© Виноградов А. К., 2023

© СОЮЗ, 2023

Содержание

Предисловие	6
Глава первая	9
Глава вторая	12
Глава третья	16
Глава четвертая	21
Глава пятая	25
Глава шестая	31
Глава седьмая	35
Глава восьмая	40
Глава девятая	45
Глава десятая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Анатолий Виноградов
Повесть о братьях Тургеневых

© ИП Воробьёв В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

Предисловие

Проблема исторического романа по-прежнему остается проблемой в силу того, что наша поэтика, теория жанров и стилей пока ограничивается лишь общими теоретическими указаниями, исходящими от максимы ученого исследователя: *«История есть политика, опрокинутая в прошлое»*. Это недостаточно и не во всем верно.

Мы не намерены касаться здесь теоретических вопросов: нас интересует *литературная практика*. Пользуясь доступностью частных, семейных и государственных архивов, мы берем нетронутый угол прошлого и пытаемся практически разрешить на микроскопическом сегменте задачу воссоздания этого прошлого в той мере, в какой малый сегмент является частью огромного круга проблем, объясняющих необходимость сегодняшнего дня. *Объяснение не есть оправдание*. Нынешний блестящий день человечества, организовавшегося на гигантских пространствах, равных одной шестой части всей суши, в социалистическое общество, не нуждается в оправдании. Скорее наоборот: качество прошлых дней мы оправдываем готовностью к нынешнему. Именно с этой точки зрения мы с интересом останавливаемся на некоторых фигурах прошлого.

Семья – отец, мать и четыре сына Тургеневы впервые становятся объектом исторического романа. Каждый из персонажей по-своему интересен, но, конечно, наиболее яркой фигурой, с точки зрения исторической ценности, является Николай. Старик Иван Петрович Тургенев, воспитанный в идеях гуманности масонов, друг республиканца Радищева, его жена Екатерина Семеновна – крепостница и кнутобоица, красавица с арапником, щадившая борзую и налагавшая красные полосы на спины малолетних детей, – вот первая коллизия, мучившая первое сознание молодых Тургеневых. А дальше *«нищета миллионов и богатство счастливой тысячи»*, александровская сентиментальность и арапчье зверство, истинно русское *«хамство, блевотина расейского вихрастого парня с гармошкой»* и *«блестящие интеллекты Германии, Франции и Англии»* – все эти противоречивые впечатления не могли не произвести переворота, мучительного и долговременного, в умах тургеневской молодежи. Но каждый из четырех братьев по-разному воспринимал жизнь; по-разному предъявлял ей требования. По мере сил изображая эту неодинаковость, автор стремился к равновесию, но уже в силу того, что Николай сделался в молодых годах *«преступником царской России»* и *пережил* на своем большом сложном и интересном пути *всех братьев*, его судьба, естественно, выступила в нашей повести на передний план. Николай Тургенев родился в трагический 1789 год, когда грянул освежающий гром Великой французской революции – молодая буржуазия, свергнув дворянство руками трудящихся, сама становилась у власти. Тургенев умер в 1871 году, когда окрепший пролетариат Парижа впервые в открытом бою сделал попытку отнятия власти у буржуазии. Чрезвычайно интересна судьба Николая Тургенева и его брата Александра – двух растений, сорванных с родной почвы разливом великих исторических рек и проведенных цветущие свои годы *«без корней у чужих берегов»*. Не потому ли их судьба при всей яркой и пестрой прихотливости была судьбой почти бесплодных растений – глубоко трагической судьбой добровольных изгнанников, скитавшихся под зноем и дождями европейской погоды XIX века?

Несколько слов по поводу *«исторической правды»*. В тех случаях, когда события двух-трех лет не находились во взаимной причинной связи, мне приходилось описывать их в плоскости одновременной, чтобы *необходимым* материалом не растягивать *излишне* повествования. Кроме того, по ряду композиционных соображений мне необходимо было свести в одном месте персонажи, которые в данном году фактически отсутствовали в Петербурге. Еще двум второстепенным лицам пришлось прибавить возраст года на *три*; я сделал это для того, чтобы не прибавлять к повести лишних страниц – главы на *четыре*. Это существенно не изменило той внутренней правды, которая является обязанностью пишущего. На эту тему я не желаю спо-

речь. Я не желаю также спорить на тему о том, нужно или не нужно было вводить в мою повесть всю массу неудобоваримых и еще на многие годы дискутабельных характеристик разных групп «исторического декабризма», групп, составляющих предмет школьного исследования.

Я не проводил своих героев через «Знаменитые годы» XIX века, стараясь не попасть в положение *сисегоне* – проводника туристов по знаменитым местам и историческим зданиям.

Я согласен спорить и защищать свою характеристику Николая и Александра Тургеневых. Я настаиваю на связи русского масонства и политических обществ с «*большой европейской Карбонадой*», вслед за Кампером. Идеи и практика, сущность и ритуалы тургеневской конспирации были и оставались «*импортными моментами*». Николай Тургенев, в сущности, не был декабристом в историческом значении этого термина. Документы прочитанного мною тургеневского архива настойчиво говорят о том, что оба брата были и оставались «поздними розенкрейцерами» – масонами высоких степеней.

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, давшее такую яркую картину истории, ни в какой мере не было делом рук Николая Тургенева, тем менее Александра. Трудно сказать, как сложились бы события, будь Николай Тургенев в России. При его жесткой прямолинейности, большой и отчетливой планомерности действий, «14 декабря» или не было бы вовсе, или династия Романовых могла бы найти себе конец. Политическая потенциальная сила Тургенева волею истории была лишена проявления и динамики.

«Опыт теории налогов», по мнению М.И. Покровского, был сводкой классических воззрений «политической экономии, на которых воспитался и Маркс». Но политическая система Н.И. Тургенева, при всей своей жизненной новизне, имела перед собой действительность, ставшую *против*. Из этого нельзя делать отрицания системы, как из неуспеха какой-нибудь паровой машины Герона Александрийского в рабовладельческом эллиноримском мире нельзя делать ни отрицания самого факта изобретения, ни значения повторного ее изобретения в другую, более благоприятную эпоху. Меня, беллетриста, заинтересовала вся семья Тургеневых как трагических личностей. В одном случае они обогнали свое время и оторвались от широкой среды, в другом – после 14 декабря они роковым образом оказываются позади тех, кого когда-то звали за собой. Сделав свое дело, Н.Тургенев не только не увидел осуществления своих замыслов, но даже вынужден был от них отречься отречением Галилея. В истолковании этого явления мы видим глубоко поучительный пример того, с какой легкостью иногда выпадает ценное и необходимое звено при механически понимаемом процессе и как это звено закономерно укладывается в исторические связи при диалектическом понимании истории.

Я не считаю возможным спорить о правильности и пригодности для беллетриста так называемой «Оправдательной записки» 1827 года. Эта (равно как и другая редакция «оправданий») всецело вынужденная записка Николая Тургенева представляет собою смесь юридической софистики французского адвоката Ренуара, стилистических двусмысленностей Проспера Мериме и, самое главное, психологической беспомощности большого человека, попавшего в страшную николаевскую западню. Трудно судить о человеке вообще, если брать только то, что он напишет под дулом револьвера или под топором палача в свое «*оправдание*». Во всяком случае, такая *запись* никак не может считаться исчерпывающим документом всей жизни Николая Тургенева. Достаточно с меня того, что его «Оправдательная записка» оправдана исторически как документ научный и нисколько *не оправдывает* возлагаемых на нее надежд, как только дело идет о живых образах для бытописателя-беллетриста.

Я не имею нужды утруждать читателя перечнем материалов, которыми я пользовался. Некоторые из них все еще малодоступны. Публикуемое в ближайшее время исследование дает мне несколько большие возможности коснуться вопроса о материалах.

Последнее сомнение, которое довелось мне услышать по поводу моей повести: Александр Тургенев якобы «расстался с дворянскими симпатиями и ринулся навстречу молодой буржуазии». Надо сказать, что Александр Тургенев был довольно сложной фигурой, несмотря

на черты поверхностные и неглубокие. После тяжелой семейной катастрофы Александр Тургенев в качестве скитальца искал самых разнообразных европейских встреч – он записывал анекдоты Проспера Мериме, любезничал с Виктором Гюго, спорил с Бальзаком о Сведенборге, дружил с карбонарием Андрианом, часами беседовал с бабувистом Буонарроти, путешествовал со знаменитым Стендалем, вместе с Лерминье посещал беседы сенсимонистов. Однако в день скандала на лекции Лерминье, произнесшего контрреволюционную фразу, Тургенев под натиском возмущенных студентов принужден был выскочить из окна вместе в лектором и с приятелем своим Петром Андреевичем Вяземским. Александр Иванович бывал всюду, но христианнейшие салоны Свечиной или Рекамье с Шатобрианом, или легитимный салон Виргинии Ансло всегда притягивают его отовсюду, несмотря на то что Николай пишет ему: «Шатобриан бредит... не хочу помощи Гизо». После Июльской революции в Париже, когда мэр департамента Сены Одилон Барро открывал своей речью буржуазный клуб «Атенеум», с какой едкой иронией Александр Тургенев передает в дневнике речь оратора, захлебывающегося от восторга по случаю того, что французские купцы и банкиры – «соль земли», стали у власти! Это презрение к буржуазии, сменившей феодальную Францию, звучит в устах Александра Тургенева реакционно. Можно было отводить душу даже с представителями европейской Карбонады новой формации: спасшимся из тюрьмы Андрианом или учеником Бабефа, Буонарроти!

Для тех, кто заинтересуется судьбою тургеневского наследства, сообщаю, что последний представитель тургеневской семьи Петр Николаевич Тургенев передал весь архив Академии наук уже в нынешнем столетии.

Пострадавший на вилле Вербуа в год франко-прусской войны от солдатского сапога, этот архив еще более пострадал от рук неряшливых представителей науки: один, работая над несданной частью архива у себя на дому многие годы, так и умер, не пожелав сдать документов, а другой, бежав за границу, частью бросил на произвол судьбы, а частью *украл* ценнейшие документы из тургеневской переписки. Автору настоящей повести известно, что третий ученый виделся в Париже с беглецом, но желательных для *нашей родной советской* науки последствий это свидание, очевидно, не имело.

В заключение считаю радостным для себя долгом выразить горячую благодарность М.Горькому, без внимательной заботливости которого я не мог бы осуществить замысел этой повести.

Анатолий Виноградов

Глава первая

Верстовые столбы мелькают по дорогам. Пошатнувшиеся и истертые осями почтовых карет и брик, они меряют версты за верстами от Москвы до самого Симбирска. А посмотришь из окон Тургеневки на другую сторону Волги, и кажется, что кончилась Россия, или уж, во всяком случае, географическая Европа кончилась. Дальше, от заволжских степей, где-то несутся сухие пески. Кончаются леса, и глядят через широкую плавную Волгу глаза азиатского Востока. Там и москвич, и ловкий ярославец, и калужанин, и туляк, и Рязань хоть и чванятся как хозяева, но все-таки они чужаки. Чуваш и черемис, татарин и старые, непонятно откуда ведущие свой род болгары, а иногда киргизы, пригоняющие конские косяки в десять – двадцать табунов, – вот настоящие хозяева края.

Когда маленькие Тургеневы вышли, заспанные и усталые, из старой екатерининской дормезы, они не сразу огляделись и не сразу признали Тургеневку свою.

– В Киндяковку поедем завтра, – сказал отец. – Да и то, ежели кости ломить не будет.

– Уж ты посиди хоть недельку, я сама поеду, – ответила своенравная супруга Катерина Семеновна, рожденная Качалова. – Тебе, Иван Петрович, спешить некуда. Раз ты меня однажды не послушал и своих масонов не бросил, за что пострадал, то уж хоть теперь-то возьми за ум, – все равно Москвы не видать тебе, как ушей своих.

Одиннадцатилетний Андрей, старший сын Ивана Петровича Тургенева, внимательно вслушивался в родительские пререкания. Немец Тоблер, учитель, подошел и сурово приказал ему подниматься в мезонин.

Вид оттуда чудесный. Зеленые степи на другой стороне с озерами и песчаным берегом Волги. А здесь огромные фруктовые сады над крутым и обрывистым берегом перемешиваются с дубовыми рощами, бегущими лентой от самого Нижнего и дальше к западу окаймляющими берега Оки.

– Здесь очень красиво, – сказал маленький Саша Тургенев по-немецки.

– Александр, раздевайтесь, идите умываться, потом успеете насмотреться в окна. Боюсь, что окна будут мешать занятиям, – сказал Тоблер.

– Здравствуйте, дорогой барин, отец меня к вам послал на услужение, – сказал красивый четырнадцатилетний мальчик, останавливаясь в дверях.

– А как тебя зовут? – спросил Александр.

– Василий, – отвечал мальчик. – Мы вашего батюшки рабы.

– Нет, Вася, у моего батюшки рабов нету.

– Как же так нет? – отвечал Василий. – Они на Волге, можно сказать, главный хозяин. Весь Симбирск их знает.

– А ты меня, Вася, барином не зови. Будем играть вместе, – сказал Андрей.

Александр подхватил слова старшего брата, и трое мальчиков пошли переодеваться с дороги.

* * *

Перед обедом, часа за полтора, Катерина Семеновна вошла в кабинет Ивана Петровича. По решительному виду жены Иван Петрович почувствовал, что разговор будет серьезный. И действительно, с первых слов тон Катерины Семеновны был самый решительный.

– Хочу тебе, Иван Петрович, по душам словечко сказать. В Москве не до того было. Я уж видела, что государынин гнев тебя к земле пригнул. Ну, тут не Москва и не Петербург, тут ты согласишься к делам не подступать и моих холопов не портить.

– Что вы, что вы, Катерина Семеновна, разве я вашему хозяйству перечил? Об одном лишь вас попрошу – не забывайте о милосердии и справедливости к рабу, ибо раб есть не меньше человек, нежели члены других сословий государства, а в послании Иоанна-масона сказано...

– Ну, батюшка, – резко оборвала Катерина Семеновна, – я думала, что ты свою масонскую белиберду в Москве за Рязанской заставой оставил, ан выходит, до самого Симбирска довез! Мало тебе, что как ссыльного в деревню согнали; мало тебе, что друга-приятеля Новикова в крепость посадили, а этого крамольника Радищева в Сибирь под конвоем отвезли; мало тебе того, что уж совсем хороший человек Иван Владимирович Лопухин под надзором полиции в Москве живет; мало того, что ты с семьею Москвы, как ушей своих, не увидишь, – ты еще здесь мне мужиков вольнодумством портить хочешь! Какое ж это будет хозяйство, ежели у тебя в голове крамольное настроение вместо дворянского ума...

– Катерина Семеновна, оставьте, матушка, перебранку. Нравственное совершенствование есть истинный долг человеческий, и я об одном прошу вас, чтобы в имении нашем не было телесных наказаний.

– Как? Что? – наступала Катерина Семеновна. – Я и твоего любимца, пропойцу Пафнутку, выпороть не могу? Да ты, Иван Петрович, ума рехнулся? Знаешь ли ты, что Щербатова рассказывала мне в самый день прощания нашего с Москвою, что вот из-за этих самых вольностей в мыслях французы короля сместили, что у них бунт и резня, что голоштанники в правители полезли. Мало тебе Пугачева?

– Эх, матушка, пороли б меньше, Пугачева бы не было. А французы от нас далеко.

– Далеко, говоришь, старик, а знаешь, какие мысли Александр в голове держит, что он-де во Франции учиться наукам будет. Это мне Тоблер сказал. На горох мальчишку поставлю. Жаль, что тебя, старого, на горох поставить нельзя.

Иван Петрович беспомощно развел руками, словно сам удивляясь невозможности стояния на горохе.

Катерина Семеновна, когда-то замечательная красавица, дама сухая и строгая, отличалась свободною плавностью манер и полновластной осанистостью. Иван Петрович, сияющий, как солнце, в кругу своих друзей – Карамзина, Дмитриева, Радищева, Новикова, Лопухина Фонвизина, – угасал при малейшем выражении недовольства своевластной супруги. И в Москве и в деревнях он пытался всячески облегчить участь крепостных, попавших под тяжелую руку Катерины Семеновны, но делал это тайком, с боязливостью, не внушавшей никаких надежд его невольным подзащитным. Для крестьян Иван Петрович был просто приживальщиком и нахлебником, не смевшим перечить истинной хозяйке – Катерине Семеновне. Хуже всего было то, что мысли о заграничном воспитании детей были взлелеяны самим Иваном Петровичем и он знал, что рано или поздно придет время для серьезного разговора об осуществлении этого воспитательного плана.

Гнев императрицы Екатерины обрушился как снег на голову и был истинной катастрофой. В Европе закачались троны. Герцог Брауншвейгский приглашал государей к походу на Париж и к сожжению мятежного города. «Вольтерьянские цветочки» превратились в «красные ягодки» французской революции. И многим приходилось расплачиваться за увлечение Вольтером. Плохо пришлось и самой Екатерине. Вольтер был ее корреспондентом. В глазах царицы и крепостного дворянства именно Вольтер и авторы Энциклопедии были отцами революции. Катерина Семеновна с негодованием видела в словах Ивана Петровича зародыши мятежа в ее собственном семействе, а спокойный и благодушный член общества вольных каменщиков, масон Иван Петрович Тургенев, отставной полковник Ярославского пехотного полка, конечно, ни о какой революции не думал. Страшился он ее так же, как и другие дворяне. Масонское стремление к нравственному совершенствованию казалось ему необходимой помощью христианской религии, и ни о каком переустройстве не только мира, но и своей усадьбы Иван

Петрович не думал. Одного он хотел добиться, это – чтобы Катерина Семеновна запретила побои и отменила телесные наказания. В Москве это ему удалось, в деревне опальный масон почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Что можно было сделать? Детям внушить отвращение к рабству. Делать это надо исподволь, не тревожа Катерины Семеновны педагогическими домыслами, благо она сама науками мало интересовалась, предоставив это дело целиком Ивану Петровичу. Он все-таки пытался слабо возражать, но Катерина Семеновна решила нанести главный удар.

– Хорошо ли старику говорить неправду? Я еще в Москве тебя спрашивала о причине царского гнева – ты все от меня укрывал. Ну, так знай же, что мне доподлинно все ваше безумство известно. Пожалел бы семью, старик!

Глава вторая

То, что было предметом двухлетнего молчания между супругами, внезапно стало темой неприятного разговора. Приятель Ивана Петровича Тургенева, Александр Николаевич Радищев, пропутешествовал из Петербурга в Москву, побывал в сотый раз у Тургеневых, потом приехал к себе и описал свое путешествие. Да даже не одно путешествие. Чего тут только не было! Тут была и ненависть к царям, и оправдание крестьянских восстаний против помещиков. В этой книжке Радищев выступал как пламенный республиканец. Он призывал к разрушению царской России, к ниспровержению огромной империи, из развалин которой должны, как малые светила, возникнуть свободно соединившиеся в большой союз вольные республики.

*Из недр развалины огромной
Среди огней, кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжес, –
Возникнут малые светила.
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцом,
На пользу всех ладью направят
И волка хищного задавят,
Что чтит слепец своим отцом.*

Итак, слепой народ, по слепоте своей, самодержавного волка считал своим отцом. Но, проснувшись и прозрев, он неминуемо этого волка задавит. Так писал Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву».

Как могла появиться такая книга при царице Екатерине II? Для многих потом это было непонятно. Для Катерины Семеновны непонятно было, как с таким человеком мог дружить Иван Петрович. Правда, книги она тогда не видала. О Радищеве слышала очень коротко и смутно, знала, что он арестован.

А происходило это вот как. Императрица любила поиграть с огнем. Вступила она на престол, прикончив своего слабоумного мужа, в надежде, что из незнатной немецкой принцессы воля истории превратит ее в либеральную царицу азиатской страны. То, что едва успела она прочесть в библиотеке своего отца, немецкого генерала, довольно сильно вскружило ей голову. Приехав в Россию в качестве супруги Петра III, больше всего любившего потехи с деревянными солдатиками на огромном столе и расстрелы горохом крыс, повешенных за лапки, Екатерина Ангальт-Цербтская почувствовала некоторое головокружение от обилия власти и применения личных способностей. Сбить с престола своего супруга было делом легким. Чем дальше, тем больше убеждалась принцесса, ставшая императрицей, что управлять страной неученых дворян тоже чрезвычайно легкая и забавная штука. Но хотелось прославиться. На Западе не было крепостного права, не было холопства. И вот она затевает переписку с философами, Вольтером и Дидро. Дидро приезжает в Петербург, осматривает все диковинки екатерининских построек и говорит, что уж очень велико несоответствие между счастьем одного человека и несчастьями миллионов. Екатерина созывает своих дворян, пишет им наказ для составления проекта нового государственного уложения. Небывалый случай в Европе: в варварской стране, построенной по образцу древних восточных деспотий, императрица созывает депутатов для того, чтобы после многих веков молчания населения услышать какой-то его голос. Екатерининский наказ печатается на многих языках и, как это ни странно, царский наказ, пришедший из России, получает полное запрещение и сожжение в странах Западной Европы.

В 1766 году двенадцать молодых дворян отправляют в Лейпциг учиться для того, чтобы впоследствии сделать из них усердных и знающих чиновников царской России. Среди них – приятель Ивана Петровича, молодой Саша Радищев. Двенадцать молодых дворян едут в сопровождении фельдфебеля Бокума, который смотрел на своих питомцев, как на клетку путешествующего зоологического сада. Он сажал их в карцер, лишал обедов, заставлял голодать по суткам и по двое. Однако он не мог влезть к ним в головы и не мог остановить течения свободлюбивых мыслей своих воспитанников. Однажды, применив к молодому Александру Радищеву способ физического воздействия, он в ответ получил звонкую пощечину и упал на пол. В городе Лейпциге Бокум в ответ на оскорбление потребовал применения к русским ученикам военной силы. Все студенты были арестованы и наказаны как государственные преступники заключением в темных казематах, пока не узнали о всех кражах и жестокостях Бокума и его не сместили. Самая главная наука, которую прошел Саша Радищев, была наука о том, что люди рождаются равными, что у них есть естественные, прирожденные и неотъемлемые права, что государство образовалось путем общественного договора вольных людей, которые свою неограниченную свободу, данную от природы, ради общего блага ограничивают законами гражданскими, но лишь до той поры, пока эти установленные людьми гражданские законы не обращаются во зло людям, и тогда граждане имеют право насильством и кровопролитием эти законы низвергнуть. Законы человеческой массы и свобода человеческого общества столь же естественные вещи, как дыхание воздухом или глядение на свет солнца. Два философа были любимым чтением молодого Радищева. Это – Руссо и Мабли. С этими мыслями, с их учением возвращался он в 1771 году в Россию. Он был охвачен безумным и пламенным порывом «всего себя отдать на пользу отечества», он был уверен, что раз их, двенадцать, послали учиться этим наукам, то, значит, несмотря на казематы Бокума (которого все-таки сместили – справедливость восторжествовала!), возложена на них трудная, но почетная задача. Вернулся, снова встретился с сердечными друзьями – Иваном Тургеневым, Лопухиным, Новиковым. Подал им знак посвящения в масонскую ложу, встречен был как брат младшей степени без особых клятв и церемоний, а дальше начались путешествия из Петербурга в Москву.

Через два года любознательная императрица создала «Общество переводчиков», чтобы переводить любопытнейшие сочинения с иностранных языков на русский. Опять приглашен Саша Радищев. Вызвали его, спросили: «Что хочешь переводить?» – «Хочу перевести «Размышления о греческой истории «аббата Мабли». Любимые мысли Радищева – полное равенство людей, передача земли в национальную собственность, одинаковые законы для всех. Не довольствуясь переводом, Радищев дает примечания, в которые вкладывает гораздо больше, чем думал сам автор. Иван Петрович читает и выхваляет: «Хорошо, Саша, правильно пишешь, но как мы с тобой слово „деспотизм“ объясним?» Не спеша очинив гусиное перо, Радищев пишет: «Деспотизм есть *самодержавство* – наипротивнейшее человеческому естеству состояние».

... И, откинув перо, берет очередной номер «Ведомостей» и читает газетные объявления:

Продается малосольная осетрина, семь сивых меринов и муж с женою.

А дальше в следующей колонке не менее красноречивое объявление:

**Продаю одиннадцати лет девочку и пятнадцати лет парикмахера.
Да сверх сего четыре кровати, перины и прочий домашний скарб.**

– Каковы объявленьица! – восклицает Радищев, глядя прямо в глаза Ивану Петровичу.

В эту минуту вошел Лопухин и сказал:

– Товарищ, и ты, брат, в стране нашей неблагополучно, неведомый поднялся за Волгой и возмутил вихрем вольности столетия дремавших рабов.

То были первые вести о страшной, кровавой грозе пугачевской. Радищев и Тургенев встали.

– В стране, где две трети населения в законе мертвы, разразится гроза опасности и гибели. Ждут случая и часа, колокол ударит, и пагуба зверства разольется быстротечно. Что ты хочешь, Лопухин, смерть и пожигание будет ответом на нашу суровость и бесчеловечье.

С этого дня начались тревоги и волнения. Под именем Петра III, убитого мужа императрицы, поднялся старый, вековечный самозванец русский и пошел жечь города и села, протянув кровавую руку призрака к императорской короне. Вольтер и Дидро посмеивались тихо. Нахмуренная царица, выходя утром из опочивальни, приказала Вольтеру статую выбросить в подвал. Потом, позвавши Анну Степановну Протасову, спросила:

– Ну, что, каков?

– Не годится, матушка, второй ночи не выдержал.

– Отправь его тогда на съезжую.

Разговор короткий, но многозначительный. Анна Степановна – крепкая и свирепая женщина – по приказу царицы всегда брала на трехночное испытание намеченных императрицей людей, прежде чем допустить их к царской опочивальне в китайском шлафоре и с книжечкой в руках, якобы для чтения у благочестивейшего царского ложа.

Эта неудача с избранником огорчала императрицу не меньше, чем слух о взятии Казани Пугачевым.

«Что это за несчастье! – думала она по-немецки. – В один день две неприятные вести. Одно дело – красиво сказать, а другое дело – затеять мятеж. Никто не может сказать, какой ад живет в душе русского мужика».

Императрица стояла в Мельбрунском павильоне; перед окнами кипела, покрываясь белыми барашками, широкая Нева. Золотой тончайший шпиль Петропавловской крепости купался в ясном, светло-синем воздухе. Мягкий свет тысячею брызг дробился в хрустальных подвесках тридцати тысяч граненых хрусталинок на люстрах Мельбрунского павильона. Белые стены, белые мраморы пола, белые раковины под фонтанами, ручейками нежно журчащей воды, – все купалось в том же воздухе двусветного павильона. Ажурные мраморы перил легко взлетали на верхнюю галерею, зеленые мирты, штамбовые розы и шары лавровых деревьев смотрели на мраморах, словно поздняя зелень на раннем снегу. Под роскошным стеклянным балдахином огромный золотой павлин с часами князя Потемкина-Таврического махал крыльями и выкрикивал полдень. Пушка на крепости стрельнула точно, правильно. Механизм государства идет безошибочно. А вот Казань взята, и фаворит оказался непригоден. А какой широкоплечий, красивый и стройный! Что же это за напасть такая – Протасихи не выдержал! Что же это за напасть такая – умерший в Ропше супруг вдруг ожил и двинулся с войском на Москву. Императрица была очень недовольна. Перекусихина Мария Саввишна и камердинер, Захар Константинович, по нечаянности вместе вошли в Мельбрунский павильон. Оба, причастные к ночным бдениям царицы, не имели других намерений, как отремонтировать закусокный столик, застрявший по дороге и не ушедший под пол. (А полагалось, чтобы прислуга по ночам не входила в Мельбрунский павильон. Все подавалось механизмами из-под полу.) Императрица разгневалась нечаянным посещением. Звонкая пощечина Перекусихиной обратила в бегство также и ее сотоварища.

– Не смей неделю в Эрмитаж показываться, паскудница! – закричала царица.

Политическая катастрофа охладила эту женщину к ночным приключениям, но потом начались успехи. Неорганизованные пугачевские массы таяли в заволжских степях. Вместе с жестокостью, проявленной к помещикам, появилась крестьянская холопчивая угодливость, спасавшая господ и выдававшая пугачевцев. Шли с именем «законного» царя против «незаконной» царицы. А императрица, почитавшая себя законной государыней, разбивала беспорядочные группы повстанцев и овладевала важнейшими местами их сборов. Вместе с тем какая-

то счастливая истома овладевала молодой царицей. Любовные удачи ее были неисчислимы. Молодой называла она себя не только сама, но и те, кого в китайском шлафоре приводил Захар Константиныч к опочивальне царской. Месяцы проходили, и портной не успевал пошивать золоченые флигель-адъютантские мундиры, шляпы с плюмажем и брильянтовым аграфом едва успевали отвалить искусные шляпники. Каждое утро Захар Константиныч являлся в новые покои нового фаворита, поднося ему флигель-адъютантский мундир и шляпу с брильянтовой застежкой. Так прошли годы.

Глава третья

Наступил 1790 год. Обстоятельства во Франции были раздражающие. Пришла весть, что парижские горожане гурьбой пошли на старинную Бастилию – мрачную крепость в середине Парижа, в которой издавна томились политические заключенные, мечтавшие о республике и свободе. С оружием в руках овладев крепостными валами, потребовав спуска крепостного моста, они ворвались в тюремные камеры в надежде освободить заключенных. К тому дню их всего оказалось два человека, но тюрьма внушала так много ненависти, что парижане решили ее разрушить. Оказалось, что в самый трудный момент осады Бастилии двое молодых людей с фузеями и байонетами [*С ружьями и штыками. – Примеч. автора*] кинулись в перестрелку. Русская императрица гневалась, так как эти двое оказались князьями Голицыными. Гнев ее был безграничен, когда, в размышлениях о голицынской измене, она взяла книжечку, забытую лектором-любовником на мраморном столике опочивальни. Книжечка в ярко-зеленом сафьяновом переплете, тисненая золотом, называлась «Путешествие из Петербурга в Москву». Захар Константиныч не позаботился узнать, что за книжка, просто вложил в руки фавориту самую последнюю книжную новинку безыменного автора, новинку, посвященную вопросу о простых вояжах, так как императрица «зело любила путешествия». Ночью было не до чтения, а утром, когда Перекусихина осторожно, за ручку, вывела фаворита, книжка оказалась на мраморном столике, неподалеку от царского ложа. В размышлении о суетности своих успехов и о превратности судьбы французов, Екатерина взяла в руки эту книжечку. С вечера было у нее плохое настроение. Петербургские дворяне без всякого стыда и совести иллюминировали свои дворцы и пускали фейерверки «поповоду взятия Бастилии и падения тиранства». Пора переменить политику. Но вот, читая строчка за строчкой красиво описанный сон Радищева, она скидывает одеяло и в сорочке, почти упавшей с плеча, встает гневная и яростная. Писателю представилось, что он «царь, шах, король, бей, набоб, султан или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле». К престолу подходит женщина-истина. Подошел к царю, сняла с глаз его толстую пелену и заявила, что доселе ей не приходилось бывать в царских чертогах. «Ведай, – говорит истина царю, – ты первейший в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если запустеет мир».

– Да ведь это оскорбление величества! – восклицает, читая, Екатерина и читает дальше:

– «Военачальники, посланные на завоевания, утопают в роскоши. Солдатам жизнь хуже, чем скоту. И казна, отпускавшаяся солдатам, прилипает к рукам начальства. Флот, отправленный против неприятеля, бездействует, а начальник его нежится на мягкой постели с любовницей. Народ называет верховную власть обманщиком, ханжой и пагубным комедиантом».

Голубые глаза царицы загорелись яростью, дыхание стало затрудненным, нижняя губа отвалилась, румянец, покрывавший щеки после горячей ночи, вдруг сменился смертельной бледностью. Тридцать страниц прочитала – и никакой пощады. Швыряет книгу на пол, дергает сонетку с таким гневом, что шнур обрывается. Сонетка, как разбитая склянка, звучит коротко и падает на пол с жалким звуком. Календарь показывает 26 июля. Испуганный Захар, не умея скрыть выражение ужаса на лице, показывается из-за портьеры.

– Прикажи Храповицкого, – сдавленным голосом говорит царица.

Секретарь царицы пришел в сильном волнении. Царица не могла говорить. Слезы бегут у ней из глаз. Из непонятных слов царицы Храповицкий понял, что нужно послать за обер-полицмейстером. Обер-полицмейстер Никита Рылеев и Храповицкий, трясясь всем корпусом, вошли в опочивальню царицы.

– Ты что же, беззубый хам, делаешь, ежели даешь разрешение на такие книги?! Кто сочинитель оной? – спросила Екатерина.

– Думаю, что не иначе, как Радищев...

И прежде чем Никита Рылеев и Храповицкий успели опомниться, она приказала разобратить это дело кнутобойце Шешковскому.

Шешковский был фигура страшная. Ему истинное наслаждение доставляло зрелище человеческих страданий. Но сердце его смягчалось всякий раз, когда родственники человека, попавшего к нему в лапы, помахивали перед его носом замшевым мешочком со звенящими червонцами. Шешковский был самым крупным взяточником из всех воров и расхитителей, окружавших престол Екатерины. Однако Шешковский запротестовал.

– Радищева я знаю, он всегда мимо Экспедиции (так называлась тайная полиция Екатерины) проходил без отягощения. Это не он, – говорил Шешковский.

Дело в том, что Радищев не принадлежал к числу тех людей, которые могли бы дать доход Шешковскому. Шешковский метил выше, он хотел замести в это дело молодого красавца, парижанина Строганова – приятеля известной якобинки Теруань де Мерикур, революционной амазонки, скакавшей по правому берегу Сены во фригийском колпаке и с обнаженной левой грудью.

Но улики оказались слишком явными. Арестован был Мейснер, носивший в цензуру книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Арестован был Зотов – книгопродавец и сафьянный переплетчик. Оба они показали, что книга была напечатана в домашней типографии Александра Радищева. Делать было нечего, пожива была плохая, оставалось только одно – натешиться вдосталь страданиями безденежного дворянина. Деревянные колышки под ногти можно былозапускать на четверть вершка, ежели в чем запрется. Все равно денег от этого Радищева не получишь. За правильные показания Зотова и Мейснера можно было освободить. Освобожденные явились к семьям своим, порадовались, что дешево отделались и спаслись, а поутру Зотов вышел до ближайшей чайной за кипятком и исчез бесследно. Мейснера супруга его Амалия Федоровна нашла поутру в постели холодным. Колпак свисал на нос, слезинка застыла на левом глазе, руки скрючились и заоченели, так что даже при положении в гроб невозможно было сложить крестного знамения из пальцев.

Александр Николаевич Радищев, узнавши, что справлялся о нем Шешковский, два часа не мог прийти в себя. Сознание к нему не возвращалось. Пробовал писать – выходили каракули. Бежать невозможно. Набрался мужества, решил потребовать свидания с императрицей, чтобы ей доказать свою правоту. Но опять помутнело сознание, прилег на диване, а проснулся в камере Шешковского. По первой просьбе увидеть царицу был сбит с ног ударом кулака в лицо. Грязным ручником повязал нос и разбитую челюсть. Отвечать отказался. Собственноручной пометкой Екатерина говорила: «Вход не имеет в чертоги, родился с необузданной амбицией, готовился к высшим степеням, но до них не дошел, желчь с нетерпения разлилась у него». Шешковский прямо тычет в глаза Радищеву книгу, где собственной рукой было написано: «Скажи сочинителю, что читала я его книгу от доски до доски и, прочтя, усомнилась, не сделана ли ему какая обида».

– Что скажешь? – спросил Шешковский.

– Скажу, что первейшая мне обида сделана, как человеку и гражданину, рабским состоянием страны Российской, чего ни в одной стране нет и к чему человек не рожден.

После этих слов тяжелый кнут сбил парик Радищева, и снова погрузился он в тяжкое, бессознательное состояние. Сильный запах нашатыря привел его в себя. Разъяренный Шешковский потирал правую руку, словно после большого ушиба, и говорил:

– Мне с тобою, смерд, разглаголать нечего. Царская воля мне известна. Признаешь ли книгу свою?

– Признаю, – ответил Радищев.

– Сколько штук ты пустил в продажу через Зотова?

– Восемьдесят, – ответил Радищев.

– Сколько напечатал?

– Шестьсот пятьдесят, – ответил Радищев.

– Где остальные?

– Пожег.

– А где рукописание твое?

– Пожег, – ответил Радищев.

– Укрыться хотел, крамольник, – заорал Шешковский. – Царицу оскорбил, а потом концы в воду. Это ты писал? – и подставил к самым глазам Радищева лист синей картузной бумаги, на котором были написаны полные строфы, частично вошедшие в «Путешествие», радищевской песни о вольности. – Ты писал?

– Я, – ответил Радищев хрипло и снова от головокружения и боли потерял сознание.

Когда он проснулся, то вместо Шешковского сидел неизвестный ему человек. На листе было написано канцелярской скорописью:

«Я, подписавшийся ниже, коллежский советник и бывший ордена святого Владимира кавалер, Александр Радищев, оказавшись в преступлении противу присяги должности и подданства, ныне обязуюсь яко государственную тайну хранить ныне учиненный мне допрос и ни о чем мною испытанном никому николи ни словом не обмолвиться, храня сие как государственную тайну под угрозой потери головы чрез отсечение».

Радищев машинально подписал, после чего надели на него кандалы и служительский тюремный тулуп, вывели и посадили в кибитку. Через два с половиной месяца тяжелых мучений проснулся Радищев в далекой Сибири, к северу от Иркутска, на поселении.

* * *

Катерина Семеновна, уставившись на мужа, пытала его:

– Что ж? О Радищеве неверно я рассказываю?

Рассказ ее был, конечно, неверен, но, казалось, злоба оскорбленной царицы нашла себе отклик в голове хозяйки крепостной вотчины: симбирская помещица негодовала не меньше, нежели российская императрица.

– Да тебе-то что до Радищева, матушка? Я же ведь к этой истории не причастен.

Звонкая пощечина была на это ответом. Иван Петрович вздрогнул и медленно опустился на старое потертое кресло.

Он был, конечно, прав. В деле ссылки Радищева имя Тургенева не фигурировало. Но Катерина Семеновна, как мастерской следователь, осуществила только первую часть допроса. Ей важно было узнать, не растеряется ли Иван Петрович, видя ее чрезвычайную осведомленность. Существо дела по обвинению она решила изложить во второй части своего допроса и таким образом отыграть за двухлетний *силанум* супруга. Силанум – это приказ о молчании, объявляемый периодически в тайных масонских обществах, когда все члены секретного братства обязуются многие месяцы, а иногда и годы, хранить полное молчание и не узнавать друг друга при встрече.

Не давши опомниться Ивану Петровичу, она продолжала уже на деревенской воле, зная, что никто из друзей не прервет беседы, свой допрос с пристрастием.

– Ты бы отца Илию, приходского батюшку, пригласил да вымолил бы у святых угодников прощение твоей проклятой ереси. Ты уже годов восемь в церковь не ходил, а причина сего мне теперь известна. Видишь ли, православный обряд отрицаешь и молитвой внутренней занимаешься. Так знай же, Иван Петрович, что из Симбирска ты ни в какой Орел не поедешь на собрания твоих масонов.

Иван Петрович молчал.

Он очень хорошо помнил выезды в Орел с Николаем Ивановичем Новиковым. Ехали на долгих из Москвы до самого Орла. Новиков был разговорчив и радостен, так как, помимо московской университетской типографии, которую он арендовал, открыл он у себя в подмосковной деревенскую типографию, в которой начал печатать многие «человечеству полезные» книги.

– Ценсировать я их не посылаю, ибо книги сии печатаны токмо для своих братьев и в продажу не поступают.

На откидной скамейке, против Тургенева и Новикова, сидел молодой архитектор Баженов, бывший братом четвертой степени той же масонской ложи. Баженов дремал, голова, склоненная на левое плечо, дышала необычайной легкостью, профиль, нежный и мужественный, хранил черты старинного итальянского типа – не то венецианский кондотьер, не то рафаэлевский ангел. А в этой голове, под густыми каштановыми кудрями, носились удивительные картины зданий, еще не существующих, но таких реальных, как будто художник видел их в незнакомом городе в чужих краях. Творческая легкость Баженова была совершенно необычайной. На месте старой развалины, в Москве, на углу Моховой улицы, там, где заступ землекопа выкидывал на свет божий черепа, пробитые круглым отверстием всегда в одном и том же месте (старинный застенок царя Ивана IV Грозного), Баженов построил для отставного поручика Пашкова новый дом: оранжевый, с белыми колоннами, с бельведером, на котором воздвиг статую Минервы, с фонтанами, прудом и огромными фонарями на столбах, узор на металлической изгороди. Баженов три недели ходил к церкви Николы Стрелецкогослушать говор восхищенных москвичей, приезжавших со всех концов столицы смотреть на эту гегуэзскую сказку, воздвигнутую на Моховой улице.

В этом самом Пашковом дворце князь Прозоровской рассказал князю Репнину о том, что им получен приказ арестовать Николая Новикова и разгромить московских мартинистов. Тайные общества ненавистны стали императрице, тем более тайные общества, главари которых находятся за пределами империи. Во Франции ярится Конвент. Головы падают на эшафоте, благородные дворянские головы. Доктор Гильотэн, как истинное исчадие ада, разыскав миланские чертежи рубильной машины, заказал парижским слесарям и столярам такую же машину для рубки человеческих голов. Дух мятежа и вольнолюбия черни распространился по Европе. А тут эти ученики Сен-Мартена – французского свободолюбца – мартинисты, собираются на тайные собрания и затевают заговоры и козни. В те дни, когда сугубо нужно оберегать границы сословий, они собираются вместе со своими рабами, коих называют братьями, целуются с ними, поют совместные песни.

«Пригоже ли дворянину драть глотку вместе с холопом?» – спрашивает Прозоровской у Репнина.

– Так ты, батюшка Иван Петрович, думаешь, что пригоже? – спрашивает Катерина Семеновна, продолжая допрос супруга.

Иван Петрович молчит.

– Молчишь, помещик Тургенев, молчишь, ссыльный дворянин? – кричит Катерина Семеновна, наступая.

Иван Петрович, приосаниваясь и разглаживая бороду, в негодовании трясет головой.

«Не драться же мне с супругою, – думает он. – Уж терпеть так терпеть». И, приосанившись, решил испить чашу до дна.

Катерина Семеновна видит, что перед ней каменная стена. Кричит о том, что он-де Иван Петрович, которому поручено благородное дело воспитания юношества, он – директор Московского университета – развратил целое поколение учащихся чтением богопротивных, вольнодумных книг, которые печатал он в деревенской типографии вместе с Новиковым секретно.

– Как тебе не стыдно! Мне все теперь известно. Ежели Новикова сослали, в Шлиссельбург посадили – туда ему и дорога, но ежели тебя Шешковский пожалел и после допроса отпустил, то уж в этом, батюшка, особое божье милосердие и милость императрицы, тобою не заслуженная. А потому потрудись, батюшка, в хозяйство носу не совать и крепостных холопей мне не портить. Здесь тебе не Орел и не Москва, я тебе не Новиков и не Баженов.

Вошел Тоблер с плачущим Колей Тургеневым. Трехлетний мальчик с нахмуренными бровями и красным личиком тщетно старался удержаться от стонов.

– Каждый раз как из кровати ступает левой ножкой, он падает и ушибается, – сказал по-немецки Тоблер.

– И сын-то у тебя коротконогий, в год французского восстания родился. За грехи отца левая нога короче правой, – сказала Катерина Семеновна.

Звонким голосом крича и напевая, влетел в комнату Александр Тургенев. Увидя плачущего братишку, остановился.

– Ты зачем? – строго крикнула на него мать и, взявши за ухо, долго мяла это ухо в руке.

Красный, молчаливый, надутый, Александр выскочил из комнаты.

Иван Петрович гладил головку белокурого, кудрявого плачущего ребенка.

– Ну, хроменький, ну поди ко мне на ручки, – говорил он Николаю.

Бурмистр вошел с докладом. Катерина Семеновна сделала знак рукою, и все удалились.

Как величаявая Минерва, воссела она на кресло. Бурмистр с клоками синей бумаги, на которой корявым почерком были сделаны хозяйственные записи, подобострастно глядя на Катерину Семеновну, ждал барского приказа. Катерина Семеновна «были гневны», и ноги у бурмистра дрожали, коленки тряслись, и так хотелось бухнуть в ноги, как перед иконой Владимирской божьей матери в местной церкви.

Тяжелая и трудная житейская обстановка Тургеневки давала себя знать и в Киндяковке по соседству. Крестьяне стонали. Иван Петрович трепетал. Дети боялись грозной матушки. Но тайком возникали ребячьи союзы, вольные и беспечные, насколько это было можно. Силки и тенета, расставленные в тенистых и огромных симбирских садах, фантастичных по запущенности и плодоносных как сады Шехерезады, приносили ежедневно разнообразных и пестрых птиц. Попадались иволги и длиннохвостые синицы, дубоносы и микроскопические птицы, вроде крапивчиков, населявшие кустарники, свисавшие в самые воды Волги. Когда Тоблер вел с Андреем сосредоточенные и серьезные беседы, в это время Александр и Сергей Тургеневы, вместе с Васей-крепостным, подкрадывались тихонько к зарослям и крепям в трепетном ожидании, что вот судьба подарит им нового пленного певца. На черном дворе была голубятня. В ясные дни Иван Петрович садился в кресло, перед которым ставили огромный, двухсаженный, серебряный таз и наливали его водою. Безумные турманы, коричневые, жесткоперые бухарцы и нежные египетские голуби поднимали свой спиральный полет к самому синему небу. Не поднимая головы, Иван Петрович наблюдал, как отражается их полет в прозрачной воде серебряного газа. Но у маленьких Тургеневых была своя забава. Вася отгородил часть деревенской клетки, получилась целая комната, населенная всевозможной дикой птицей.

Глава четвертая

Прошло два года. Голубоглазый и не в меру задумчивый мальчик Коля Тургенев начал учиться. Старшие братья относились к нему с некоторой нежностью и снисхождением. Все могли резво бегать и веселиться, а Николай не мог – одна нога была короче другой.

Однажды, очень рано утром, Тоблер, умываясь, заметил, что кровать Коли Тургенева пуста. Немец не нашел своего питомца нигде в доступных в утренние часы комнатах Тургеневки. Он вышел на крыльцо, надеясь встретить Николая в цветнике, но и там его не нашел. Мальчик вернулся только к утреннему чаю, хмурый, и отказывался отвечать на вопросы. Глаза, голубые и холодные, говорили, что этот маленький человек думает гораздо больше, чем говорит.

После занятий обнаружилось, что у Васи птичник сломан и все пленные птицы, пойманные братьями Тургеневыми и Васей, улетели. Огорчению не было пределов. Искали преступника и решили, что это Петька-черемис созорничал из зависти к Василию, допущенному к барскому дому. Как только было высказано это предположение, так было прервано молчание маленького Николая.

– Я выпустил птиц, – сказал он громко.

Александр надул губы, Вася заплакал. Наступило неловкое молчание.

– Я не хочу, чтобы птицы сидели в клетках, – заявил Николай твердо.

– А мы хотим, – сказали братья, – и будем ловить.

– А я буду выпускать, – заявил Николай.

– Придется сказать отцу, – заявил Андрей.

Перед самым обедом маленький Николай был вызван к Ивану Петровичу.

Объяснение было очень короткое.

– В клетках тесно и грязно, – сказал Коля, – а кроме того, там полет «невозможен».

Тоблер восхитился, слушая, как мальчик отчетливо произнес слово «unmöglich» [*Невозможно (нем.)*].

– Колька прав, – сказал Иван Петрович. – Прекратить мучить птиц!

Оставалась еще одна инстанция, но об ней никто не подумал. Это была Катерина Семеновна.

Петька-черемис ликовал. Один раз только пытался он устроить клетку для птиц и был за то нещадно избит своим отцом. А тут Ваське такая воля!

Через несколько дней наступило внезапное огорчение у других Тургеневых. Катерина Семеновна проиграла в преферанс соседнему помещику Дудареву одного подростка. Выбор Дударева пал на Васю. Карточные долги – дело чести, здесь никаких не может быть колебаний. На этот раз Александр Тургенев, с глазами, широко открытыми от ужаса, вбежал к матери и, зная, на что идет, все-таки закричал:

– Матушка, не продавайте Васю. Вася такой же человек, как и твои сыновья.

Катерина Семеновна кормила борзую, держа наготове свернутый кольцом арапник. Развернувшись, этот арапник лег во всю спину на Александра Тургенева. Глаза Катерины Семеновны горели, как голубые льдинки. Она не говорила ни слова, но вся была полна яростью от сознания того, до какой степени несчастное и скудоумное поколение, воспитанное развратными масонами, может забыть о долге дворянской чести. Еще было у нее огорчение: княгиня Щербатова прислала письмо с оказией и сообщила, что во Франции революционная чернь казнила короля и королеву.

* * *

Тоблер и четыре мальчика выехали на берег Волги, взяли с собой завтраки, самовар и чашки, большие удочки, дворового человека Федора, по выражению Катерины Семеновны, «весь домашний скарб». На берегу рыбацкие выселки. Сохнут невода, а на плетнях развешаны верши. Около самого берега топко. На кольях, вбитых в дно, толстые веревки, тонущие в воде. К ним привязаны садки, большие, похожие на дощаники деревянные ящики, просверленные и пропиленные узкими отверстиями для свободного обмена воды. Чумазые ребята бегают по улицам, вернее – по грязному, покрытому лужами проходу между двумя рядами курных изб. Старый рыбак, позевывая и глядя на солнце, чинит сеть. При проезде барской коляски встал и почтительно поклонился. На берегу Волги, около песчаных отмелей, где посвистывают сотни куличков и со стоном поднимаются пестрые пигалицы с хохолками, Тургеневы остановились.

– Если бы так на лодке до Астрахани, – сказал Александр Тургенев.

– Ну и что же – вода да вода, – благоразумно заметил Андрей.

– Перед Колумбом тоже была одна вода, однако открыл новые страны, – заметил Александр Тургенев.

– Никаких новых стран на Волге не откроешь, все уже открыто, – сказал Андрей.

– А может быть? – возразил Александр. – Может быть, еще не все. Каспийское море велико, персы географию плохо знают.

– Тебя всегда тянет из дому, сказал Николай Александру. – А вот я бы так не уехал из Тургеневки.

Татарские ребята, по просьбе Тоблера, натаскали хворосту. Зажгли костер, стали готовить чай. Справляли пятидесятителетие Андрея Тургенева. После официального домашнего праздника разрешен был праздник ребячий. Редкий случай, когда с одним только Тоблером, без родительского глаза, разрешали отлучиться далеко. После таких поездок не обращали внимания на запачканный костюм, на грязные руки, на взъерошенные волосы и громкий голос.

На Волге было широко и привольно. Красивая большая река, с обрывистым берегом около Симбирска, здесь текла плавно между низкими берегами. На берегу были мелкие заводы и затоны, богатые всякой птицей. Когда после чая дети побежали в кустарник на голос какого-то пернатого существа, вылетела целая стайка дергачей, а те, что были помоложе, разбежались в разные стороны, забавно вытягивая вперед длинные шейки и на бегу раскачиваясь в обе стороны; как маятник. Птичка, за которой бежали Александр и Николай Тургеневы, перепархивала с куста на куст. Мальчики бежали за ней, то крадучись, то напролом через кусты большими шагами, до тех пор, пока внезапно густые заросли не кончились, и на другой стороне маленькой песчаной косы снова показалась красивая, спокойная Волга. На берегу горел костер. Совсем у кустов лежала на воде длинная узкая беляна. Перед костром сидели двадцать человек в лаптях, измученные, волосатые. Лямки и канаты неподалеку говорили о том, что люди, сидевшие у костра, – бурлаки.

Мальчики подошли поближе и спросили:

– Что вы здесь делаете?

– Беляну тянем, – ответил хриплый голос.

Говоривший посмотрел на Александра Тургенева единственным глазом и вдруг ухмыльнулся.

– А я думал – и не приведет бог свидеться, – заметил он неожиданно.

Александр Тургенев узнал не сразу до такой степени Вася, товарищ его детских игр, изменился за ушедшие четыре года.

– Как ты сюда попал, Вася?

– А так. Был в Москве у господина Дударева. В кузнечных учениках на каретном дворе служил. Вон, видишь, окривел, когда ободья ковал, а теперь в оброке в бурлаках.

– Куда ж ты идешь?

– Вот с нижнего плеса тянем беляну до Кунавина.

– Хочешь, пойдем с нами, Вася?

– Никуда ему, барин, идти нельзя, – прервал сердито старый бурлак. – Эй, ребята, поворачивайся, бери лямки.

– Через полгода, коли живы будем, увидимся, Сашенька, – сказал Вася. – Оброк мой кончается перед тем, как ехать в Москву.

Саша протянул руку, хотел обнять товарища, но тот боязливо отшатнулся и, не оглядываясь, пошел к берегу.

Мальчики медленно возвращались. Александр только теперь заметил, что Николай во все время беседы не проронил ни слова. Тоблер сделал выговор. Андрей и Сережа смотрели хмуро.

– Я не для того отпросил вас у матушки, – сказал Андрей, – чтобы вы гуляли отдельно. Уж вместе так вместе.

Сережа надул губы и повторил: «Уж вместе так вместе».

Александр сначала хотел рассказать о встрече с Васей, но, услышав суровый тон Андрея, решил молчать. Маленький Николай никак не мог выразить словами, почему костер здесь у ног Тоблера и там – костер бурлацкий внушают ему столь разные чувства. Тут хорошие завтраки в чистых салфетках, блюда, разложенные на траве, чайник, подаваемый дворовым человеком. А там – разбитый синий полуштоф и плесневелый хлеб.

Началась непогода. Откуда-то из-за Волги нашли тучи, и, прежде чем мальчики успели сесть в открытую коляску, загрохотал гром и застучали крупные капли дождя. Огромные темно-синие тучи покрыли небо. Холодок вместе с каплями дождя, бегущими за ворот, заставил ребят Тургеневых теснее прижаться друг к другу. Тоблер сидел хмурый, сняв очки, с носу у него падали на оливковый редингот крупные капли дождя.

– Подмокло твое совершеннолетие, – сказал Александр Андрею Тургеневу.

– А все благодаря тому, что ты убежал надолго, – возразил Андрей.

– О чем ты задумался, Коленка? – спросил Тоблер Николая.

– Я думаю о том, как можно тащить беляну в такую погоду, – сказал мальчик.

– Что такое беляна? – спросил Тоблер.

Николай не ответил.

Приехали. Встретили их охами и ахами. Катерина Семеновна, ради совершеннолетия Андрея, выдрала его за уши. Щеки у нее горели, она была очень возбуждена, соседи еще не разъезжались, и пир стоял горой. Мальчики приехали, казалось, несмотря на непогоду, не вовремя: родители были заняты не ими. Вишневки, сливянки и смородиновки вместе со стерляжьей ухой разогрели патриотизм Ивана Петровича. Стоя посреди комнаты, он громко говорил о пользе самодержавия. Катерина Семеновна, раскрасневшаяся, со сверкающими глазами, взволнованно понтировала за круглым зеленым ломберным столом, и в этот день ей не везло. Не играя на деньги из соображений бережливости, она играла на крестьян и проиграла шестьдесят душ. Иван Петрович этого не знал, был весел и смотрел на супругу подобострастно. Она победила в хозяйстве и в семье, а победителей не судят. Минутами, мигая глазами, он силился понять, что с ним происходит. Симбирские помещики, отставные штаб-ротмистры и дворяне, не чуждающиеся откупничества, казались ему «дурачьем, верноподданным набитым дурачьем», и временами так и подмывало крикнуть на всю залу Тургеневки так, чтобы задрожала зеленая штофная мебель из карельской березы, что, дескать, «вон идите отсюда, дурачье», что «вы», дескать, «неученые хамы, позорящие дворянское сословие». Но каждый раз, поглядывая на разгоряченные щеки и горящие глаза супруги, Иван Петрович ее волнение о проиг-

рыше приписывал энергии и хозяйственной распорядительности, затихал и старался изобразить перед гостями благополучный и законопослушный круг мыслей своей супруги. Старый гусар Зубакин притоптывал и приплясывал, держа на плешивой голове большой бокал иностранной мальвазии. В минуты случайного прекращения разговоров он поднимал двумя пальцами бокал высоко над головой и кричал: «Здравие императрицы, матери отечества, царицы цариц!»

Гости подхватывали, по анфиладам Тургеневки неслись нестройные крики «ура!», тонкие гости из города Симбирска начинали напевать английский гимн «Бог да хранит короля!», ходивший в то время в качестве благонамеренной патриотической песни.

На мезонине четверо ребят Тургеневых переодевались и пили чай с малиной, чтобы не простудиться. Тоблер, омраченный и сердитый, помогал своему любимцу Николаю, не прекращая с ним разговора.

– Aber warum sind Sie traurig, Kola? [*Но почему вы так печальны, Коля? (нем.)*]

– Скажите, дорогой учитель, кто переодевает бурлаков, которые тянут беляну?

– Но, мой мальчик, я второй раз спрашиваю вас, что такое беляна?

Николай объяснил, равно как и объяснил все свои мысли и чувства по поводу встречи с окривевшим товарищем детских игр.

Тоблер, длинный, сухопарый, подняв брови, смотрел на Николая молча, потом, после длинной тирады своего питомца, произнес полушепотом по-немецки:

– Ты недаром сын своего отца, но знай, мальчик, что наступит такое время, когда не будет ни рабов, ни господ и когда один человек перестанет угнетать другого.

– Как сделать, чтобы это время наступило поскорее? Увижу ли я это время? – спросил Николай.

– Не знаю, – сказал Тоблер. – Нужно много знать и многому учиться, чтобы на это ответить.

– Я буду много знать и буду учиться, я хочу это видеть, – сказал Николай Тоблеру.

Глава пятая

Матушка Екатерина, императрица всероссийская, отправившись за нуждой в уборную, вдруг почувствовала себя плохо и, заслонивши грузным своим корпусом дверь, скончалась. Долго искали ее по всему дворцу. Наконец генерал Волховской осмелился открыть дверь. Это было чрезвычайно трудно. Поправивши государыню от зазорного вида, приступили к похоронам.

* * *

Из Гатчины, загнав лошадей, прискакал наследник цесаревич Павел Петрович. Первым делом простил Баженова и Новикова, которые звали его в масонство. За Волгой зима была ранняя в этот год. Снег в 1796 году выпал в самом начале октября, и ударили ранние морозы. По Волге плыло сало. Плакучая ива, заиндевевшая и омертвевшая в неподвижных формах, спускала свои ветви в прозрачные осенние воды. Белые, украшенные льдинками, они превращались в зеленые, как только попадали под воду. Из мезонина Тургеневки виднелись побелевшие сады и обширные белые замороженные заволжские степи. Небо было красное, красные тучи, и над ними ослепительное зимнее солнце.

Первым проснулся Николай Тургенев и босыми ножками подбежал, прихрамывая, к окну. Он громко захлопал в ладоши и закричал:

– Виват, виват! Зима наступила. Уже настоящая зима – снег не тает.

Александр, в длинной рубашке до пят, вскочил на этот крик и опрокинул табуретку с сальной свечкой. Толстая книга комедий Гольдони, читанных им на сон грядущий, свалилась на пол. Сергей и Андрей проснулись за ним. Александр, не говоря ни слова и закинув руки под затылок, сладко потягивался, думая о том, что хозяйка гостиницы, выведенная Гольдони, очень похожа на дворовую девушку Марфушу, – должно быть, такая же веселая, так же заливисто хохочущая и показывающая ослепительно белые зубы. Каждый раз, когда проходил мимо Марфуши, Александр испытывал непонятное смущение. Сергей, оглядывая комнату, натопленную, светлую и веселую, глядя на снег, чувствовал понятную только ребятам радость от этого уюта, теплоты, яркого света красных облаков, освещенных ранним солнцем, и бесконечных степей, покрытых снегом и уходящих куда-то далеко, к востоку, за Урал, в сердце непонятной и таинственной Азии. Оттуда шел Ермак, оттуда в древности по зимам неслись на лихих конях дети Чингисхана. Теперь покорные, красивые татарчата едва помнят о своих предках-победителях. Вокруг Тургеневки мир и прекрасная зимняя тишина, совершенно такая же, как в душе Сережи Тургенева. Николай быстро одевался без посторонней помощи. Тоблер, не обращая внимания на детей, лежа в постели, читал какую-то толстую книгу. Ворота заскрипели. Раздался громкий лай дворовых собак, им ответило тявканье борзых.

– Какой сегодня день? – спросил Николай Тургенев.

– Пятнадцатое ноября, – произнес Тоблер, не меняя позы. – Сегодня двойной урок математики и истории.

Заскрипели ворота еще раз.

– Вкатила кибитка, – закричал Николай Тургенев.

Тут все братья подбежали к огромному тройному окну мезонина и стали смотреть, как кибитка на широких полозьях с подрезами заворачивала за угол и в облаках пара лошади остановились у крыльца.

– Военная форма, – произнес Андрей.

Усатый фельдъегерь, шашкой стряхивая снег с валенок и держа в руках с величайшей осторожностью кожаную сумку, входил на крыльцо. Через секунду громкие крики ликования понеслись подому. Император Павел Петрович требовал возвращения Ивана Тургенева в Москву.

Иван Петрович плакал, как большой ребенок. Он сидел на тяжелом вольтеровском кресле, спрятав голову в подушки. Высочайшая грамота лежала перед ним на столе. Коленка в подштанниках выставилась неуклюже из-под шлафора, и старые плечи Ивана Петровича вздрагивали. Катерина Семеновна осанисто и серьезно, ни на минуту не теряя своего достоинства и спокойствия, распорядилась угостить фельдъегера водкой и соленой рыбой.

Быстро молва пронеслась по Киндяковке. Тургеневские и киндяковские мужики и бабы толпились во дворе. В таких случаях вторжение челяди в барские комнаты не считалось дерзостью. Добрые полторы-две сотни народу заполнили двор, крыльцо и прихожую. Катерина Семеновна, поднеся «бодрительную» кружку с мальвазией супругу, вышла в прихожую и, высокомерно подняв голову, произнесла:

– Ну, холопы, государь требует барина в столицу. Пафнутьича слушайте, оброк платите исправно, и чтоб жалоб не было!

– Слушаем, матушка барыня, слушаем, Катерина Семеновна! – раздался голоса.

Сборы были короткие. Выехали на зимних дормезах, пересаженных на полозья. Ехать решили на долгих, так как самые лучшие лошади почтовых станций были переброшены на Питерский тракт. На следующий день двинулись в дальний путь. Четверо мальчиков, немец Тоблер и Федор Пучков, дворовый человек, сели в переднюю дормезу, выпивши чаю, помолвившись на дорогу и присевши со всей семьей и челядью в большой зале Тургеневки, подальше от печки, на прощание.

Первые дни хорошо спали и вкусно ели. Зимние дороги легки и коротки. Нет ни болот, ни гатей, все закрыто снежным покровом, нет ни оводов, ни проклятой строки, которая нападает на лошадей, покрывая их сплошным покровом отвратительных, копающихся насекомых. Маленькие окна кибиток заиндевели. Николай Тургенев рукавицей старается отодрать ледяную корку, чтобы видеть окружающие дорогу леса и деревни.

– Что интересного? – говорит Андрей, видя, как кусочки оттаявшего снега сваливаются на медвежью полость под рукой Николая. – Ну, увидишь деревню, только и всего, не мешай лучше спать.

– Нет, я хочу видеть, – говорит Николай. – Деревни разные, а лица одинаковые. Я хочу найти разные лица.

– Какая глупость, – говорит Андрей. – Лица у мужиков разные, а глупость одна.

– Знаете, Андрей, – говорит почтительно Николай, – высамый старший, а говорите вещи совсем необдуманные.

Андрей не спорил, зевнул, задремал снова.

В лесу, на поляне, насторожившись и мягко ступая, легко, почти не вдавливая рыхлый снег и выставив голову вперед, с опущенным хвостом пробиралась лисица. Горностаи, почти невидимый на березе, кидался головой вниз и прятался в снегу. Изредка, около деревни, испуганные движением больших экипажей, поднимались из-под одинокой сосны среди поля огромные, как телята, матерые волки. На постоянных дворах отец приходил навещать сыновей. Держа в руках серебряный стакан с медом, распущенным в кипятке, Иван Петрович расспрашивал детей, не устали ли в дороге, помнят ли Москву. Почти никто хорошо не помнил. Хотят ли ехать в Москву? По-видимому, не очень.

– Где будем жить? – спросил Андрей.

– На Моховой, при университете, – ответил Иван Петрович.

По ночам не ездили, хотя Катерина Семеновна торопила и не всегда давала лошадям выстоять. Одно время даже требовала она отправить лошадей в Киндяковку и ехать на пере-

кладных. Но Иван Петрович, приобретя уже в дороге самостоятельность, запротестовал решительно. Встречный курьер с письмом привез ему радостное известие о прощении Радищева. Катерина Семеновна, нарезая индейку за обедом на постоялом дворе, пыталась было вырвать у него из рук письмо. Но, неожиданно для самого себя, Иван Петрович, поднимая письмо высоко в руке, опалил свою супругу таким грозным взглядом, что она остановилась не столько от испуга, сколько от удивления.

– Ты что, батюшка, сумасшедшими глазами на меня смотришь? Знаю, что новая метла чисто метет. А все-таки ты носа не задирай.

– Катерина Семеновна, вы бы хоть при челяди... – начал было Иван Петрович и протянул супруге письмо.

Катерина Семеновна прочла его, осторожно сложила и, возвращая, произнесла:

– Апостол Павел сказал, что жена да боится мужа своего. Я, Иван Петрович, никогда у тебя из повиновения не выходила.

– Что вы, что вы, Катерина Семеновна! – произнес Иван Петрович, поднимая руку. – Я совсем не про то!

– Да и я тоже не про то, – сказала Катерина Семеновна.

К вечеру брали глиняные плошки, наливали их водой, ставили ножками походные кровати в воду. Хорошие кровати, старый офицерский инвентарь Ярославского полка. И все-таки под утро все стонали и охали от огромного количества укусов. Меньше всего страдала Катерина Семеновна.

– Клоп тебя не любит, барыня, – говорил старый дворецкий. – Это ндрав у тебя такой! А вот у барина ндрав мягкий, и клоп его язвит. Вон и Николая Ивановича тоже не трогают – ндравом в матушку идет.

Катерина Семеновна, снисходительно относившаяся к суждениям старика, качала головой и произносила по-французски:

– Характером-то в меня, а вот затей-то у него отцовские. Готова клятву в этом дать. Оттого и молчит много мальчуган.

К югу от Мурома сломалась хозяйская дормеза. Едва нашли кузнеца. В крутую гору села, за шесть верст от большой дороги, едва втащили проселком тяжелый экипаж. Кузнец возился два дня. Маленькие Тургеневы бродили по деревне, смотрели, как в речке на багор надевают через прорубь рыбу крестьянские мальчишки в островерхих шапках и коричневых лохмотьях, когда-то бывших отцовскими армяками. «Непонятный гонор, совсем не русский, – думал Андрей. – Пробовали объясняться – ничего не выходит. Десятки чужих слов, разговор быстрый, окающий, невнятный, словно каши в рот набрали».

Но Тургеневы восхищались сноровкой и ловкостью, с какой мальчуганы занимались рыбной ловлей. Александр пробовал действовать багром, приморозил руки и едва не упустил снасть. Мальчуганы, разговаривая между собою, рассказывали о Рощине, который будто бы залег своей разбойничьей шайкой неподалеку от Мурома. Леса глухие, дороги дальние, ни жилья, ни огонька кругом. Разговоры эти были переданы старшим. Никто не обратил на них внимания, и, к ужасу мальчиков, решили даже выехать ночью, так как поломка заставила задержаться в дороге лишних двое суток.

Ночные леса необычайно красивы при лунном свете. Месяц то прятался за тучи, то ярко освещал огромные пространства.

– Луна восхитительна, – говорил Александр Тургенев.

– А спать чертовски хочется, – говорил Андрей. – Ну ее к... твою луну.

– Андрей, где научились таким словам? – спросил проснувшийся Тоблер.

– Не у вас за пюпитром, дорогой учитель, – ответил Андрей с хохотом.

– Да, я думаю, что не у меня, – сказал Тоблер.

– А вы у кого научились? – спросил Андрей.

– Во всяком случае, не у тебя, – ответил немец.

– Я думаю, – ответил ему в тон Андрей.

Мороз крепчал. Под утро задул ветер. Луна ушла с горизонта. В лесной чаще замелькали, как синие свечки, парные огни волчьих глаз. Ехать становилось жутко, и томительное чувство охватывало путников. В совершенно глухом месте огромная сосна перегородила дорогу. Пришлось остановиться. Лошади храпели и били копытами в снег. Все вышли из экипажа. Дормезы сгрудились, форейтор пошел искать обходной дороги, кучера взяли топоры и тщетно пытались рубить твердую, как сталь, замерзшую древесину. Она звенела, стонала и пела и еле-еле поддавалась топору.

Катерина Семеновна одна не вышла из дормезы. Через Марфушу она выпрашивала, как обстоит дело с дорогой, и Александр Тургенев подробно рассказывал Марфе, в чем состоит затруднение. Марфа скалила зубы, Саша Тургенев смеялся, говоря, что через неделю разрубят дерево и поедут дальше, как вдруг по лесу раздался протяжный свист. Топор выскочил из рук кучера. Все остолбенели. По хрусту ветвей можно было думать, что на дорогу выходит целый полк пехотинцев с обозом.

Десять рослых фигур вышли на дорогу из леса и остановились по другую сторону срубленной сосны.

Тургеневский поезд мгновенно замер. Разговоры и шутки Саши Тургенева прекратились. Форейторы и кучера, прошептав только одно слово: «Роцин», остановились и замолчали.

– Кажись, они самые, – раздался голос с дороги.

Потом наступила пауза, и в темноте трудно было понять, что намереваются делать лесные разбойники.

Иван Петрович пошел по направлению к ним.

– Ой, батюшка, не ходи! – закричал старый дворецкий.

Саша Тургенев думал о сказочных разбойниках. Марфуша взвизгнула и бросилась к барыне в экипаж. Андрей, стиснув зубы, заметил:

– Как жаль, что нас не послушались, а теперь да будет во всем воля божия.

Голодный и протяжный вой раздался издали. Ему ответил вой другой волчьей стаи. Катерине Семеновне Тургеневой казалось, что жизнь кончается и весь мир распадается прахом. Чувство невыразимого страха за свою жизнь ее оцепенило. Разбойники и волки – неизвестно, что страшнее. Тоблеру хотелось спать, а тут всякий сон прошел мгновенно. «Гирька на кожаном ремне с короткой рукояткой, называемая кистенем, через минуту-другую уложит всех путников».

«Страшная страна! – думал Тоблер. – И если я когда-нибудь увижу мой родной Геттинген... Aber um Gottes Willen [*О, боже мой (нем.)*], случится ли это когда-либо?» – Перед ним пронеслась вся его жизнь в маленьком германском городе с университетом, чтение Руссо по ночам, поездка в Кенигсберг ради слушания лекций профессора Канта, неудачная попытка обзавестись своей семьей. Немец думал про себя, вздыхал и называл себя самого «бедный Тоблер! Der arme Tobler!» [*Бедный Тоблер! (нем.)*]

Иван Петрович, остановленный дворецким, решил, что, пожалуй, действительно неблагоразумно приближаться на короткое расстояние к поваленной сосне. С быстротой молнии сообразил он, что сосна повалена даром, а нарочно, чтобы перегородить им дорогу, что вот сейчас они будут ограблены или разорваны голодной стаей волков, – и все это накануне счастливого приезда в Москву, с которой связана тысяча счастливых надежд.

«Вот когда небо с овчинку кажется», – думал по-русски Иван Петрович и по-немецки обратился к Тоблеру:

– Wir haben unsere letzte Stunde [*Настал наш последний час (нем.)*].

– Jawohl, gnadiger Herr, – ответил Тоблер, чувствуя, как дрожат его колени.

Бегающие светляки, синие огоньки замелькали вокруг поезда. Казалось, тысячи светящихся синих жучков летают по лесу. Слышалось лязганье челюстей, подвывание маток. Волки приближались огромной голодной стаей.

Женская прислуга плакала, даже не плакала, а, вернее, подвывала вместе с волками, словно обе вражеские стороны жаловались на какую-то общую обиду.

Быстро чиркнуло огниво. С какой-то неожиданной быстротой загорелась сухая хвоя сваленного дерева. Буквально через минуту около дороги пылал костер. Рослые, широкоплечие люди, опершись на длинные шесты, стояли около костра. Теперь уже ясно можно было различить ближайших представителей обеих вражеских групп. Около костра был десяток людей в высоких шапках, с шестами, с угрюмыми, неподвижными, зверскими лицами. А в ста шагах вырисовывались темные силуэты сидящих на снегу волков. Высунув разгоряченные языки, они, казалось, выжидали какой-то команды, какого-то мгновения для того, чтобы броситься на осажденных ими людей. От костра загоралась поваленная сосна. Ни одна сторона не нарушала молчания. Выхватив из костра большой горящий сук смолистого дерева, один из неизвестных трижды махнул им над головой и швырнул в группу присевших волков. Вся группа отпрянула от неожиданности и испуга. Прошло мгновение, и второй сук, кружась, шипя и потрескивая, понесся в сторону второй группы волков. Мальчики Тургеневы с восхищением смотрели на богатыря, который, размахивая горячей сосною, ловко бросал ее на двести шагов. Волки отбежали с испуганным лаем, обиженно тявкали вместо короткого воя и не возвращались. Поваленная сосна горела по всей длине. Неизвестные таскали хворост, рубили его короткими топорами сосредоточенно и хмуро, не обращая никакого внимания на Тургеневых. Прошли добрые полчаса. То, что вначале казалось томительным – эта странная молчаливость людей, вышедших из лесу со словами: «Кажись, они!» – то теперь давало впечатление какой-то спасительности. В голову никому из Тургеневых не приходило нарушить это молчание. Все словно сошлись на одном чувстве: так будет лучше. Прошел еще час. Холод заставил ходить. Начали сначала шептаться, потом говорить громко. Неизвестные тоже слегка переговаривались. Тургеневы услышали слова: «Застрял твой купчина, Кузьма». – «Не минует», – ответил тот. Начало светать.

– Однако ловко они разогнали волков, – сказал Коля Тургенев.

– Да, нам бы без них пропадать, – отозвался Андрей.

– А может быть, через них-то и пропадем, – возразил Александр.

Тоблер шептал: «Бог велик и милосерден!» Катерина Семеновна казалась окоченевшей. Она упорно молчала. Уставившись глазами в темноту, она сидела не шевелясь, и, казалось, мгновенное безумие, овладевшее ею, лишило ее способности речи. Когда совсем уж стало светло, неизвестные прикрутили вершину отгоревшей сосны веревкой и, взявшись за веревку всей гурьбой, с какой-то удивительной плавностью и легкостью очистили дорогу. Старший подошел к тому месту, где потухал костер, снял шапку и, не приближаясь к Тургеневым, громко крикнул:

– Господа хорошие, проезжайте, слободная вам дорога. Мы – пильщики и вам зла не хотим.

Зоркий глазок Николая Тургенева заметил, как один из толпы неизвестных подобрался к ближайшему дереву и жадно смотрел в детский экипаж одним-единственным глазом. Рыжая борода закрывала почти все лицо смотревшего. Но по глазу и по всей фигуре Николай Тургенев узнал Васю-птицелова. Через минуту Николай Тургенев не мог бы сказать, видел ли он этого одноглазого во сне, или действительно тот подходил к экипажу, – до такой степени быстро он растаял в воздухе. Да и вся группа, как дурной ночной сон, не то чтобы ушла, а просто как-то исчезла, скрылась из глаз.

Когда миновали обгоревшую сосну и прошел в пути какой-нибудь час, все ночное происшествие стало казаться простым сновидением, и даже разговаривать о нем не хотелось. Нерв-

ное возбуждение исчезло. Дети и родители спали крепким сном. Только кучер и фореитор многозначительно обменивались короткими словами:

– Пильщики! Хороши пильщики! Не нас ждали, а то было бы кистенем в висок – и прощай барин, прощай барыня, прощай милые детушки.

– Ды-ть, взять-то нечего. Барыня-то с фельегерем шкатулку отправила. Едут без денег.

– А они почему знают?

– Кто? Рощинцы-то? Да они чего хошь знают. Кривого видал?

– Ну что? Видал.

– Так ведь это Васька-птицелов.

– Врешь!

– Право слово, Васька.

– Рыжий-то?

– Ну да, рыжий.

– Вот оно так-то и бывает. Из господской воли вышел и на большую дорогу пошел.

– Господская воля – мужицкая доля. А барыня-то как перепугались!

– Что говорить – язык отнялся. Первый раз в жизни не ругалась.

– Ды-ть, нешто можно тебя не ругать?

– Пошел к матери, тебя самого ругать надо.

– Сиди, сиди крепче, а то кобыла тебя стряхнет. Ей-богу, обоза не остановлю. Пропадай тут, волчья сыть!

– Что лаешься, старик?

– А ты что зубы скалишь о барыне?

– Ну, подь на меня пожалься.

– На кой ты мне ляд нужен? Все равно тебе в некруты идти.

На этом разговор оборвался.

Глава шестая

В Москве, на Моховой, в университетской квартире расположились хорошо и уютно. Зимний семестр университетских занятий уже начался. Тем не менее Андрей был определен и сделался студентом. Ставши воспитанником университета, он довольно быстро превратился в жоака тургеневского отряда. Трое младших братьев считали его заместителем отца. Особенно Александр завидовал его студенчеству и стремился догнать старшего брата. В этих целях он упрашивает отца определить его в подготовительный курс к университету, в так называемый Университетский благородный пансион. Отец соглашается. Двое из Тургеневых большую часть дня проводят вне дома. Иван Петрович, окрепший, обрадованный и веселый, ведет оживленную работу с московским студенчеством. Катерина Семеновна притихла и, проходя у супруга курс человеколюбия, старается сдержаться, когда руки чешутся оттащить за волосы провинившуюся Марфушу. Сергей и Николай сидят дома. Тоблер целиком ушел в заботы о Николае. Крепкий и сильный мальчик с серо-голубыми, стальными глазами, с огромным характером и силой воли делается любимым питомцем стареющего Тоблера.

«Редкий ребенок, – думает немец, – он обнаруживает чрезвычайную зрелость, ясность холодного ума и большую широту горячего сердца. Что-то выйдет из этого сочетания? У Александра как раз обратно: быстро вспыхивающий блесками, чересчур горячий ум и сердце, прыгающее от Марфуши к Аняте, немножечко мелкое, немножечко узкое. Из Александра ничего не выйдет, из Николая выйдет богатырь, гигант. Сергей – лирическая фигура, прелестный мальчик, живущий только гармонией собственных чувств. Достаточно грубому порыву жизни разрушить гармонию, и Сережа погиб. Это настоящий рыцарь, а живет фантазиями. Но император Павел, кажется, тоже живет фантазиями, – думает немец, – магистр Мальтийского ордена, масон, чудак, он считает, что является носителем верховной религиозной, гражданской власти в стране. В малиновом далматике, вышитом серебром, и в архиерейской митре, он самолично служит в гатчинской церкви в качестве священника. Он совершенно серьезно убежден, что дворянское сословие создает породу особо одаренных, благородных людей, что именно ему нужно поручить руководство царствами и формирование правительств. А вместе с тем по нашептыванию масонов он учреждает ограничительный закон для помещиков, запрещающий отправлять крестьян на барщину больше трех дней в неделю. Он мечтает о вооружении всех европейских дворян и об отправке их на защиту французского трона. Все это буквально повторяет Сергей – самая привлекательная фигура тургеневской семьи».

Четвертого ноября 1797 года у Тургеневых был семейный праздник. Это – день поступления старших в университетский пансион. Было много гостей. Были Кайсаровы – Андрей, Михаил и Сергей, – был Николай Михайлович Карамзин и случайно заехавший в Москву, с бегающими глазами и безволосым черепом, с огромным лбом, вздрагивающим при каждом восклицании, Александр Николаевич Радищев. Кайсаров рассказывал, как на смотре Измайловского полка у солдат оказались неисправны парики. При маршировке носки поднимались на разный уровень над землей, и вообще было немало неисправностей. Император Павел Петрович, отказавшись принимать смотр, сам командовал полком и закричал: «Налево кругом – марш... в Сибирь!» При этих словах Кайсарова Радищев болезненно съежился и поднял брови.

– Ну и что же? – спросил Тургенев.

– Что же, – ответил Кайсаров, – полк так смотровым строем и пошел к заставе. К вечеру выслали конный разъезд искать, куда он вышел. Вернули только около Чудова.

– Каково повинование! – воскликнула Катерина Семеновна, проходя мимо. Она спешила подсесть к ломберному столу, где, вопреки нахмуренным бровям Ивана Петровича, началась большая игра московских кутил. Француз Пелисье метал банк. Катерина Семеновна и ее сестра Нефедьева возбуждали друг друга азартом. Иван Петрович дважды подходил и осторожно тро-

гал супругу за руку; по третьему разу, когда Иван Петрович подходил, Катерина Семеновна с негодованием заметила:

– Пошел бы ты, батюшка, приказал бы принести мне оржаду, мне доктор велел миндальное молоко пить.

– Подите, подите сами, Катерина Семеновна, – сказал Иван Петрович строго. – Дети замечают, что вам зеленое сукно вредит.

– Не приставай, батюшка, – сказала Катерина Семеновна.

Пелисье бросил ей очаровательную улыбку.

– Мадам, вам так везет, вы так счастливы в игре, позвольте указать вам счастливую карту.

Через минуту княгиня Щербатова сняла брильянтовый перстень и сказала:

– Катенька, тебе везет. Денег у меня нет, вот тебе перстенок на зубок.

Вторично поставив на ту же карту, Катерина Семеновна сорвала банк и торжествующе посмотрела в сторону, где стояли Иван Петрович и Андрей, хмурясь и пошептывая. Но вдруг произошла перемена счастья, и перстень, и сорванный банк, и двадцать пять тысяч рублей в какие-нибудь полчаса ушли от Катерины Семеновны.

Когда гости разошлись, дети собрались у Ивана Петровича в кабинете.

– Не расстраивайтесь, друзья, – говорил Иван Петрович. – Отнюдь не осуждайте и гоните от себя хулильные мысли. Пуще всего не поддавайтесь унынию. Дело это мы поправим. Ну, Сашенька, еще раз поздравляю тебя за латинские твои стишки благодарю. Торжественным стилем латыни ты овладел. Ты, Сашенька, помни, кто был основателем нашего университета – холмогорский паренек из государственных крестьян Михайло Ломоносов. Когда будет тебе трудно в жизни, припомни, как этот человек, претерпевая побои, с трудом завоевывал себе книгу, как он ночью с обозом пешком ушел из Архангельска, как едва не погиб дорогой, идя до Москвы, как здесь сносил унижения ради науки и все-таки выбился в люди, да еще какие люди! Всем вам, дорогие друзья, всем моим четвертым товарищам, коим я являюсь отцом, даю завет: пуще всего хранить в сердце человеколюбие, а в уме и воле стремление к труду и познанию.

После этого небольшого вступления началась очередная беседа с детьми на всевозможные темы. Трудно было понять, читает ли это лекцию профессор университета, или это дружеская беседа пяти ровесников, – до такой степени живы и увлекательны, умны и веселы были эти собеседования.

Ночной сторож прошел по Моховой с колотушками, завернул на Никитскую и дальше, стуча, пошел по Шереметьевскому переулку. Расхаживая большими шагами, Андрей слушал отца. Александр сидел у камина с затаенным и жадным вниманием, он старался не проронить ни одного слова из того, что говорили отец и братья, сообщавшие о прочитанных книгах. Все четверо читали много и беспорядочно. Расстались за полночь. Александр долго не мог заснуть. У него была уже своя комната, горы книг лежали на письменном столе. Стихотворные опыты и прозаические наброски, первые попытки вести дневник, – все было перемешано в этой литературной кухне. Яркий лунный свет заливал улицу. Снежинки попадали в полосу фонарного света, слегка кружились и медленно падали на немощеную улицу, изрытую ухабами. Сторож в черной поярковой шляпе и широком балахоне, сидя у ворот противоположного дома, спал, склонив голову к себе на колени. Длинная алебарда, высываясь через плечо, уперлась в водосточную трубу. Была полная тишина. Александр записал: «Сию один в моей комнате. Глаза мои смыкаются. Вижу из окошка бледно мерцающий свет фонарей. Все вокруг меня спит, все тихо. Один сверчок прерывает глубокую тишину. Помышляю о том, что происходит теперь в пространном мире: трудолюбивый крестьянин, работавший целый день в поте лица своего, чтобы достать себе кусок черствого хлеба, разделяет его со своей голодной семьей и помышляет, как бы ему не умереть с голода в будущий день. Между тем как празднующий богач ест самые отборные кушанья, совсем ни о чем не думая».

Окончив эти размышления на тургеневские темы в карамзинском стиле, Александр задул сальную свечу и лег спать.

Проснулся рано утром и думал, с трудом припоминая, о чем это бишь вчера Николай Михайлович Карамзин и молодой поэт Вася Жуковский разговаривали с Мерзляковым.

Ах да, о немецких замках на берегу Рейна. Говорили, что красивая река, на которой немало развалин немецкого средневековья. Старший брат Андрей слушал и восхищался рассказами о том, как на одной стороне Рейна выстроил замок барон Маус, а на другой через несколько лет возник другой замок, по повелению барона Катцена. Огромные глыбы юрского камня громоздили одна на другую покорные германские рабы. Когда замок был готов, барон Катцен послал Маусу записку: «Мы кошки, а ты – мышь. Отдай мне твой замок, со всеми деревнями, или мы просто тебя съедим, как кошка съедает мышь». Барон Маус обиделся. Началась многолетняя война; сверху по течению, снизу против течения причаливали к берегу Рейна лодки врагов, сшибались на середине, тонули и гибли. И если рыцарь в кольчуге или стальном шлеме падал из лодки, то тяжесть вооружения немедленно тянула его ко дну. Светила луна. Рейнская русалка Лорелея сидела на берегу Рейна в виноградниках, которые спускались по костлявому, каменистому берегу к водам прекрасной реки. Она расчесывала золотым гребнем свои мокрые волбсы, в которых, по выражению Мерзлякова, «конечно, застряли головастики и лягушачья икра», и смеялась по поводу гибели рыцарей. Это была очень злая русалка. Кончилось дело тем, что кошки все-таки съели мышей. Барон Катцен разгромил замок барона Мауса, так как не хотел жить в его жилище. Это старинное немецкое сказание приводило в восторг молодого поэта Васю Жуковского. Николай Карамзин кивал небритой головой. Голубые спокойные глаза смотрели с необычайной ясностью, а губы, опущенные вниз, казалось, всех обливали хинной горечью.

Александр Тургенев задумался над тем, почему у Николая Карамзина такое забавное противоречие между улыбкой лица, холодностью глаз и хинной горечью, которая веет от складки губ и от нижних уголков, которые ясно проступают, опускаясь вниз в минуты самого большого веселья, самых беспечных улыбок Николая Карамзина.

Карамзин приехал ненадолго. Пробудет в Москве еще несколько дней. Он живет в Царском Селе, среди великолепных ихолодных дворцов. Он пишет стишки про то, как крестьяне любят помещиков. Александр силится вспомнить карамзинские стихи.

*Как не петь нам? Мы счастливы,
Славим барина-отца.
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее,
Их искусство – говорить.
Что ж умеем мы? – Сильнее
Благодетелей любить.*

– Кто такие благодетели? – спросил Николай Тургенев, подходя к Карамзину.

Карамзин со снисходительной жалостью посмотрел на Колю Тургенева и ничего не ответил.

Александр начал говорить о том, что легенда о кошке и мыши, живших на берегах Рейна, есть по существу очень старая легенда. В дворянском пансионе рассказали, что есть греческая поэма, посвященная войне мышей и лягушек. Список сей поэмы находится на царском печатном дворе: «Батрахомюмахия – сиречь война мышей и лягушек – это рукопись древнего песнотворца Омира, привезенная в Московскую Русь невестой Ивана III – дочерью греческого императора Софией Фоминишной Палеолог».

– Очень учено, но совершенно неуместно, – сказал Мерзляков.

Все это вспомнил Александр Тургенев утром пятого ноября, когда выпал снег и по Моховой потянулись обозы на полозьях вместо колес. Сразу наступила необычайная мягкость погоды. Мальчикам дышалось легко и вольно. Но захотелось побегать на лыжах, спуститься на широкую Волгу по заячьим и лисьим следам мимо тенистых садов, запущенных теперь хлопьями снега, хрустящего под полозьями чужих, незнакомых, не московских саней.

Как бы в ответ на эти мысли Александра Андрей вскинулся на кровати и воскликнул:

*Ах, что сравнится, что тешит взор,
С прелестной далью волжских гор.*

При этом возгласе проснулись Николай и Сережа.

– Ты что – Тургеневку вспоминаешь? – спросил Николай.

Сережа потягивался, скидывал одеяло, бормотал что-то невнятное и плакал. Андрей, как старший, подошел к нему, потрогал лоб и сказал:

– Сережка все еще болен. Я думал, что у него скоро пройдет. Вероятно, у него то самое, что нынешние доктора называют очень смешным названием *грипп*. Знаете ли, что такое грипп? Ведь это просто морщенье – смотрите, как Сережка морщится.

Сережа, облизывая языком горячие губы, умоляюще поднимал на братьев почти невидящие, мутные детские зрачки и, ничего не говоря, метался в постели. Вошел Тоблер, пощупал лоб Сережи и сказал:

– Однако надо вызвать доктора.

Глава седьмая

Десятого марта 1801 года в Летнем саду гуляло яркое солнце, гуляло по дорожкам, по деревьям, по статуям. Была настоящая, восхитительная петербургская весна. Два офицера встретились на тропинке. Один попытался не узнать другого, но тот, кого хотели не узнать, дружески обнял своего знакомца за талию и, держа за темляк большого драгунского палаша, спросил:

– А ну-ка, суворовский адъютант, расскажи-ка, как там живут за Альпами?

– А, здравствуй, – ответил пойманный.

– Здравствуй, а с дорожки хотел свернуть. Я ведь видел, как метнул глазами в мою сторону и быстро – налево.

– Совсем нет. Однако что ж ты хочешь спросить?

– Да вот то самое, что спросил.

– За Альпами... Ну, шли мы против разбойника Бонапарта спасать Италию от французской революции. Ну, все остальное ты и без того знаешь из газет и журналов.

– Послушай, дорогой офицер, ты прекрасно знаешь сам, что император Павел Петрович никаких газет и журналов не пропускает из-за границы. Ты хорошо знаешь, что нам связаться с мыслящей Европой невозможно. Ты все наши повадки знаешь, и уж, если на то пошло, скажу тебе прямо, что император Павел Петрович повинен в смерти и моей супруги. Две недели тому назад на Галерной вышла она, больная, из экипажа при встрече с императорской каретой, как по нынешнему регламенту полагается для реверансу проезжающей царской фамилии. А сам знаешь, какой на Галерной реверанс: ручки от самого памятника Петру бегут в Неву, грязь и жидкие лужи лошадям по уши. Вот она, родив мне ребенка, больная, с матерью своею вышли из экипажа, чтобы приветствовать его величество» и сразу по колена в мерзлую грязь ушли. Третьего дня я ее схоронил – из-за поклона его величеству. Это ли не тирания, это ли не деспотия?

– Все хорошо, но от меня ты чего хочешь?

– А вот чего я хочу. Нонче ты вернулся в Петербург из-за границы, и нонче ты заступаешь караул Измайловского полка во дворце. Обещай мне помнить, о чем мы с тобою говорили.

Собеседник внезапно ослабил веселой и счастливой улыбкой. Протянул руку, широко обнял товарища и сказал:

– Это я тебе обещаю. Пален утром был у меня. Ты свое помнишь, а я всероссийское горе помню.

С этими словами они расстались.

* * *

Под утро одиннадцатого марта, вскочив с железной походной кровати в белых подштанниках и белой рубахе, император всероссийский Павел Петрович увидел перед собою разъяренные офицерские лица и после короткого разговора с генералом Паленом отрицательно покачал головой.

– Не отрекусь от престола, – прохрипел он.

Тогда тяжелый пресс с письменного стола лег ему на висок. Струйка крови из пробитого виска побежала по белой ночной одежде. Пален, бледный, разъяренный и злой, вышел на верхнюю лестницу. По коридору, звякая шпорами и палашами, бежал ночной караул. Предательство! Оказалось, не измайловцы дежурят у дворца, и если слабоумного деспота не стало, то и все заговорщики будут сейчас истреблены. Нужна последняя ставка. Все ближе и ближе бле-

стящие мундиры, ближе гремят шпоры, яснее и яснее горят разъяренные глаза встревоженного караула. Пален становится на верхнюю площадку, скрещивает руки на груди, как это делает якобинец Бонапарт, посылая Францию на смерть, и кричит:

– Караул, стой!

Зычный генеральский рев. Моментально лица успокаиваются. Караул останавливается. Дежурный по караулу подходит с рапортом. Пален молча поднимает руку и говорит:

– Император Павел Петрович скончался. Да здравствует император Александр!

Затем, подняв правую руку высоко, высоко над плечом, кричит:

– Ура!

Караул подхватывает «ура». Затем наступает молчание. Пален командует:

– Налево, кругом...

Команда исполнена. Еще несколько мгновений. Раздается вторая часть команды, но не по-кавалерийски, а коротенько, отрывисто, как пушечный выстрел:

– *Марш!!!*

И, печатая всей ступней, без единого перебора, шаг в шаг, плечо в плечо, палаш в палаш и коса в косу, люди в мундирах шагают по темному ночному коридору, не смея думать и только покоряясь львиному голосу бесшабашного и отважного заговорщика.

Пален с адской улыбкой говорит Скарятину:

– Хорошую дисциплину создал покойничек. Кабы не он, от нас бы осталось сейчас мокрое место!

В своих покоях цесаревич Александр горько плакал, зная о том, что совершится, и зная о том, что это уже совершилось. Маленькая принцесса Елизавета Алексеевна, его жена, говорила ему тихим и спокойным голосом:

– Но, мой ангел, перестань колебаться. Ты начнешь новую и счастливую жизнь своего народа, а кроме того, завтра ты уже не генерал-губернатор столицы; мы можем спать в постельке сколько угодно, не подавая ненужных рапортов этому деспоту в пять часов утра. Аракчеев не станет будить нас и выгонять меня за ширму каждое утро в пять часов, в самый сладкий час нашей любви, ради того, чтобы получить твою подпись на какой-то бумажке.

– Да, в самом деле, мой ангел, – говорил молодой Александр, ненавидя свою супругу за то, что у нее хватало характера перешагнуть через преступление отцеубийства.

Вопреки всему наступило «дней Александровых – прекрасное начало».

Александр I – любимец бабушки Екатерины. Он знал все ее качества и все ее пороки. Батюшка, Павел I, жил в Гатчине, имея любовницей Анну Гагарину. Бабушка, Екатерина II, жила в Петербурге, принимая в Эрмитаже не первого, а уже неизвестно какого своего «аманта».

Трудно было молодому великому князю Александру с двумя братьями – Константином и Николаем – лавировать между отцом и бабушкой. Это были буквальные, а не мифологические воплощения ужасов гомеровской «Одиссеи». Там Сцилла, а здесь Харибда, и посреди них – узкий морской проход, по которому утлый плот Одиссея едва мог проскочить. Александр читал книжки Руссо – французского философа, звавшего человека к возвращению на лоно природы. Александр думал: «Все выходит прекрасным из рук творца, все портится под рукой человека». Однако православные иерархи говорят о каком-то первородном человеческом грехе. Александр обращается к своему учителю – почтенному швейцарскому республиканцу Лагарпу. Тот говорит:

– Все это – богословский вздор! Человек рождается из материи и в материю уходит. Человек рождается с задатками лучшего будущего, а несовершенное общество задатки эти уничтожает в детстве; следственно, речь идет об уничтожении неправильного устройства человеческого общества и о воссоздании человеческого общества, соответствующего природным требованиям.

Из Парижа вернулся Строганов. На балу у графа Кочубея он узнал о намерении царя, поехал во дворец и стал рассказывать Александру о французской революции. Император целиком стал на позицию якобинцев. «Правильно, что короля Людовика XVI казнили, правильно, что требуют республики».

– Я сам за республику, – сказал робко Александр.

Но «всероссийский самодержец, подающий голос за республику», был настолько большой исторической нелепостью, что даже тогдашние либеральные представители французских идей не поверили Александру. Однако графу Строганову поручено было вести протоколы негласного комитета, занимавшегося вопросом о либеральных реформах в империи Российской.

По поручению царя Завадовский отправился к сибирскому изгнаннику Радищеву и предложил ему написать проект – «Установление политических свобод».

Иван Петрович Тургенев, окруженный своими сыновьями, сидел – в отсутствие Катерины Семеновны, выехавшей на генерал-губернаторский бал в невероятно расфранченном виде, – с эмалевой табакеркою и даже с сигаретою в зубах. Иван Петрович говорил сыновьям:

– Друзья мои и дети мои, вы знаете, что без вас жизнь моя была бы несчастьем, потому должен я оставить при себе опору своей старости. Андрюша да пребудет при мне. Но знаете вы, что устройство ваше есть первейшая моя забота, и знаете вы, что европейские государства сотрясаются от переворотов. Дело идет о правильном устройении экономии сил внутренних и экономии сил государственных. Необходимы хорошие познания экономические, чтобы человек, выступающий на поприще дел государственных, мог справиться со своею задачею. Для сего потребны геркулесовы силы ума и несметные познания. Где сейчас в Европе лучше и полнее этому научают, нежели в германских странах. Голос внутренний подсказал мне, что милый Тоблер может вооружить вас знанием немецкого языка, а теперь настоятельно потребно вам осуществить прожекты престарелого отца. Простите...

Тут Иван Петрович вынул большой, в полскатерти, фуляр и стал отирать слезы.

– Простите, дети мои, если чувствительность родительского сердца не позволяет мне высказаться полностью, и не принимайте сии слезы за слезы печали, но я должен истребовать согласия вашего на то, чтобы первенец, рожденный мне природою, – Андрей – при мне остался. Александр – соименник звезды российской, ты поедешь, дабы осуществить пламенные надежды царства и отеческого упования. Все будет тебе обеспечено...

Александр Тургенев встал, с полным изумлением подошел, бросился на колени перед отцом и укрыв свою голову у него на груди. Андрей встал и медленно отошел в угол. И пока Александр плакал на груди отца, Андрей сухими глазами смотрел на братьев. Младший, Сергей, играл лежащей на столе статуэткой, а в левой руке держал щипцы с коробочкой для снятия напыла и нагара на сальных свечах.

Иван Петрович продолжал, смотря на детей ясными, голубыми, стариковскими глазами:

– Ребята, вы еще несмышлениши, вы вряд ли понять меня можете. Настал новый век, ныне вторая годовщина нового столетия, и новое столетие начинается блистательными словами молодого царя. Перед Россией – невиданное будущее. Будьте его достойны.

Маленький Сережа уронил статуэтку и разбил. Это было прямое нарушение достоинства минуты. Александр рыдал на груди отца, а Андрей думал: «Этакая торжественная минута, а болван Сережка разбил о паркет севрскую маркизу. Ну, уж ладно, я останусь, Сашка уедет – Марфушка останется».

Александр по-прежнему рыдал на груди отца. Ему хотелось ехать за границу, но Марфуша все-таки кое-где, в каких-то уголках памяти мерещилась. Мальчишкой въехал в Симбирск на тройке тайком от отца, с Марфушей вдвоем, – кажется, сто лет тому назад это было, – сбил с ног городского перед самым домом губернатора. Ах, и с тех пор прослыл первым шалу-

ном города Симбирска. Что такое Александр I? Пообещает, пообещает... и ничегошеньки не исполнит... «Однако куда это батюшка метит?»

– Так вот, Сашенька, поедешь ты в Германию, в город Геттинген. Дело решенное. Там наилучшие пособия по экономическим наукам дают. Ты принадлежишь к владетельному дворянству, на тебя смотрят первые должности государства. Дворянству не надлежит заниматься коммерческими делами. Пусть сим делом занимаются иностранные купцы. Однако ж, когда придет время, сумей понимать их работу; ежели она не клонится к выгоде империи Российской, то работу сих иностранцев останавливай. Сам же ни к каким делам коммерции прикосновения не имей. Дворянину это не гоже.

От последних слов Александр почувствовал некоторое успокоение и спросил:

– Куда же я поеду?

– В Германию, в город Геттинген, поедешь, дорогой.

– Знаю, батюшка, в Геттингене лучшие профессора, лучшие экономисты, лучшие историки, батюшка дорогой, жалко мне расставаться с семейством.

– Что же делать, милый друг, брат и товарищ, – сказал Иван Петрович. – Ты уже все знаешь, что отец сообщить детям может, нынешний император не чета другим. Явись готовым на большую брань, ибо все же, как древний летописец сказал: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».

* * *

Катерина Семеновна вернулась под утро – веселая, слегка запьяневшая. Дети уже спали. Андрей, идя в уборную, слышит:

– Знаешь, муженек, твой приятель отравился, принес вчера утром Завадовскому якобинскую бумагу о преобразовании государства, а Завадовский ему говорит: «Ты что же, Радищев, за старое принимаешься, мало тебе одной Сибири?» И знаешь, милаша Иван Петрович, приехал твой Радищев домой, намешал себе стакан цикуты, а через две минуты его обмыли и на стол положили покойником. Вот тебе, батюшка, – не верь якобинским глупостям.

Андрей не мог заснуть всю ночь. Когда под утро дети и родители встретились за утренним чаем, Иван Петрович был желт, как итальянский апельсин, мешки висели у него под глазами. Катерина Семеновна сверкала аквамариновыми льдинками своих глаз и ловила выражение глаз у своих детей. Андрей явился позже всех. Старшего сына Катерина Семеновна не то чтобы лорнировала, а с торжеством на него смотрела. Андрей был хмур, и, когда опускал веки, словно под многопудовым грузом, под многолетней усталостью, она торжествующе шептала про себя: «Яблоко от дерева недалеко падает». Сережка, по обыкновению, пролил чашку на колени отцу. Николай, занятый своими мыслями, надрезал скатерть и за то был бит по рукам. Иван Петрович, с большим трудом раскачавшись и поднимая синие веки, сказал детям:

– Знаете ли, друзья, когда великий философ Сократ проповедовал пользу познания, его обвинили в ереси против богов. Обвинение неправильно было. Сократ говорил, что он не таил своего учения, он проповедовал на площадях и перпатировал в греческом колонном коридоре в Афинах: все могли его слышать. Никакого тайного учения, никакого заговора противу правительства его речи не содержали. Он говорил лишь о свободе суждения и о том, что правильное познание добра ведет к его осуществлению. Одначе Сократ был схвачен и посажен в тюрьму. Там он принял цикуту, поднесенную ему палачом, и, окруженный своими учениками, повествовал им об истине, перемежая свое повествование заметками о том, что вот уже ступни ног и кисти рук омертвели, и дальше говорил, прерывая: «Братья, почитатели истины, вот уже ноги по колени и руки по локоть охладели». И так говорил он, смеясь и бодро смотря на учеников своих, пока похолодание смерти не застало его на слове истины. Дети, друзья и товарищи, прошлой ночью от того же самого яда умер великий мудрец так же премудро и просто. Поминая

его смерть добрым словом, порадуемся, что в державе Александра подобная смерть не повторится. И проводим ныне весело и счастливо Сашу в германский город Геттинген. Дети мои, мир сотрясается под революциями, во Франции учреждена республика, народоправство стучится в окна. Вдумайтесь в происходящее, перед вами многие возможности.

В два часа дня в Грузинах Саша Тургенев сел в почтовую карету, положив тяжелый баул на крышу. Покрепче в дорожную шинель! «Ох, как хороша дорога!» – думал Александр Тургенев, садясь в почтовую кибитку.

Марфуша пекла блины. Едкий дым застилал глаза. Фекла была ее смертным боем, а она, все чаще и чаще убегая за печку, дергаясь плечами, говорила: «Сашенька, Сашенька!» – и плакала навзрыд никому непонятными, глупыми, бабьими слезами.

Глава восьмая

Дворовый человек Василий, ухарски завитой, в шитой рубашке, ворот которой торчал из-за полушубка, на лихой тройке приехав на почтовую станцию, остановил Александра Ивановича за какие-нибудь двадцать минут до отъезда:

– Дорогой барин, государыня Катерина Семеновна вас требуют.

Оплакавши Россию, приготовившись к отъезду, Саша Тургенев должен был, повинувшись родительской воле, вернуться домой. На подорожной сделали отметку об отсрочке.

Дома полное смятение. Катерина Семеновна, раздувая ноздри, рвет и мечет. Иван Петрович, как никогда хладнокровный и спокойный, говорит:

– Хорошо, матушка, в Петербург поедем, такова высочайшая воля, но все равно ты меня не переймешь – ехать Сашке надо будет; он и Двигубский уже зачислены, а там еще, смотришь, Кайсаров Андрей, Галич, Куницкий, да и другая молодежь ехать должна это тебе, матушка, не Синбирск, чтоб девятнадцатилетнего мальчишку с дороги ворочать. Я тут глава, я – начальник семьи.

Дети с ужасом смотрели, как дрожал письменный стол, а через минуту большой фарфоровый чайник разбился о паркет. Катерина Семеновна мрачнее тучи вышла из комнаты.

На следующее утро все выехали, но не в Германию, а в Петербург. И лишь оттуда, через три дня, несмотря на капризы и протесты Катерины Семеновны, Александр Тургенев и Яншин сели за Нарвской заставой в петербургском Отделении почтовых карет и брик, ровно через десять дней после случая в Москве, и шестерка с диким криком форейтора из калмыков помчала кибитку по Ковенской дороге. Саша Тургенев, впервые тайком от матушки и батюшки, был вдребезги пьян. Яншин уговаривал его прислониться к кожаной подушке и заснуть. Саша пел песни про широкую Волгу, про Степана Разина, говорил несвязные слова о том, до чего хороша вольная жизнь и что если б матушка не была похожа на черта, то все было бы замечательно. Яншин его успокаивал и говорил:

– Когда тебя, милый друг Сашка, сильно начнет тошнить, ты мне скажи, а сейчас спи, дурак!

Саша думал: «Если б не капризы и етурдерия матушки, был бы я сейчас человек человеком, а то выходит, что я перед Яншиным свинья свиньей». Саша не помнил, говорил ли он вслух эти слова, или ему так думалось, но только Яншин трубил ему в ухо:

– Всегда, Сашка, перед отъездом так бывает, ты только не злись и не неволься. В Германии еще не то будет! Ты куда едешь? В Геттинген?

– В Геттинген, – отвечал Саша, запинаясь.

– Я тоже! А вот Двигубский – в Париж. Счастливая собака! Там интереснее.

Саша Тургенев проснулся и не мог определить, который час. Яншин сидел в кибитке. На чемоданчике, разложенном на коленях, на верхней крышке было блюдо с резаной курицей. Яншин ел с аппетитом, ястребиным глазком поглядывая на Тургенева. У Саши голова кружилась. Достал матушкину жареную индейку и, пока с ней возился, увидел на крышке большого баула две золотые стопки, наполненные лиловой, издающей приятный запах жидкостью.

– *Bon voyage!* [*Счастливого пути!* (*франц.*)]

– сказал Яншин. – Но только не мигая и до конца!

Саша, не привыкшим к спиртному, выпил и вдруг сразу почувствовал, что ему хочется есть. Болтал без умолку, говорил бессвязные, глупые вещи. Яншин холодным, ястребиным глазком на него смотрел и лицо его выражало нескрываемое презрение к захмелевшему юноше.

– Тебе девятнадцать лет, Тургенев, да?

– Да, сказал Саша, – а что?

– Да так, ничего! Думаю, где мы с тобой остановимся, когда приедем в сей славный университетский город.

– А я думаю, – сказал Саша Тургенев, – как бы мне опустить проезжему курьеру письмо к матушке и батюшке.

– Да ты, я вижу, сосунок, – сказал Яншин. – Без батюшки и матушки дня прожить не можешь!

После этих слов Яншин почему-то противен стал Александру Тургеневу.

Каждый предавался своим мыслям, и так ехали до самой границы Там была проверка паспортов. Комиссар на границе впился глазами в русских путешественников и спросил ломаным немецким языком, зачем им нужен въезд в Германию. Отвечал Яншин, окончательно покрививший Тургенева своей практической сметкой и умением разобратся в обстоятельствах.

Начались бесконечные северо-немецкие болота и туманные места Восточной Пруссии. Сам не помня, как и когда, Александр Иванович Тургенев открыл глаза; въехав в маленький город на берегу реки, остановился синий, с большими почтовыми рогами дилижанс. Яншин, веселый и довольный, покачиваясь и посмеиваясь, вышел из экипажа.

– Где мы? – спросил Александр Тургенев.

Яншин осмотрел его с головы до ног. Треугольная шляпа лежала на бауле, черный редингот с голубым бархатным воротом и палевый шелковый ворот с гофренным галстуком, переходящим в кружевное жабо, довольно изящно оттеняли свежее, юношеское лицо молодого Тургенева, с прическою, сбитою мелкими кольцами и спадающею на лоб, с небольшими бакенами, спускавшимися чуть повыше кончика уха. Александр Тургенев был похож на заспанного фавна. Немножечко припухшие веки говорили о том, что юноша или устал с дороги, или, быть может, внимая увещаниям товарища, выпил излишне.

– Знаешь, ты даже похож чуточку на молодого царя, – сказал Яншин, указывая на белокурые волосы Александра Тургенева.

Александр Тургенев был занят другим. Почтовая станция была маленькая. Наблюдателей было немного, и, пользуясь случаем, какой-то старик в тяжелых больших очках, с высоко поднятым воротом, небритый, так что седые волосы торчали вокруг подбородка и под носом, хриплым голосом, почтительно что-то доказывал молодому человеку.

Тот стоял, элегантный, прямой, высокий, и, не глядя, слушал. Тургенев разбирал отрывочные слова из шепота.

– Принц Конде обещал – скоро последняя голова у гидры будет срублена, ваша светлость! Матушка ваша приказала не унывать. Золото в надежных руках. Будьте уверены, что Париж раскроет вам ворота.

Молодой человек, вялый и изнеженный, медленно натягивал перчатку лимонного цвета на левую руку и говорил:

– Хорошо, Франсуа, ты – верный лакей. Надо, чтобы в течение двух недель сто тысяч прокламаций было разбросано. Мишель возьмет двадцать пять, ты – семьдесят пять тысяч. Марш!

К удивлению А.И.Тургенева человек, ехавший с ними, такой старый и почтенный, казавшийся всем, ехавшим с ним от границы Германии, не то маркизом, не то графом старой Франции, оказался просто лакеем французского аристократа.

– Ну, что же ты так долго? – спросил Яншин.

Из дилижанса вышли. На извозчике поехали по берегу реки. Прошло еще два часа, и, окончательно сваленный аметистовыми бокалами Яншина, Саша Тургенев очнулся уже в городе Геттингене, в маленьком мезонине, где Линхен и Амальхен приготавливали постели для русских путешественников и приглашали их на кофе.

Началась студенческая жизнь Александра Тургенева.

* * *

Надо матрикулироваться. Матрикул – большой лист пергаментной бумаги – требует заполнения целого ряда вопросов: о родителях, об исповедании, о философских взглядах, какие науки интересны и прочее и прочее.

– Вы русский? – спрашивает секретарь.

– Русский, – отвечает Тургенев.

– У нас был русский Куницын. Ах, это студент, это студент! Он доктора получил через два года, aber es ist ein Jakobiner [*Но он якобинец (нем.)*].

– Aber was für ein Jakobiner? [*Но что такое якобинец? (нем.)*]

– Вы еще переспрашиваете, – говорит секретарь, – вам мало одной королевской головы, оторванной от плеч.

– Я вас не понимаю, – говорит Тургенев.

– Платите две марки за матрикул, – говорит секретарь. – Я не имею ничего сказать вам. Александр Иванович оборачивается к Яншину и говорит:

– Я ничего не понимаю!

Яншин стучает его ладонью по лбу и говорит:

– Это в порядке вещей! Придешь, тебе вечером объяснит Линхен, а под утро – Амальхен.

– Что за чушь? – говорит Александр Тургенев. – Это возмутительно! Отпишу батюшке, что не затем ехал я в Германию.

– Отпиши, отпиши, милый, – говорит Яншин, – свалляй дурака. Прошло время, когда непонявший обращается к матушке и батюшке.

Круглая зала университета. Профессор Сарториус в шапочке с шелковыми углами («словно митрополичий кучер», говорит Тургенев) входит на высокую кафедру, маячащую перед аудиторией. Шестьдесят пять студентов разных национальностей сидят перед ним. Профессорская мантия, головка, откинута на спинку кресла, длинные сухие пальцы, сваливающиеся с кафедры, говорят о прошлой эпохе. Свободные жесты кидает Сарториус в аудиторию. Рука от локтя до кисти временами вдруг встает костлявым привидением над кафедрой и свободно откидывается в сторону студентов. Костлявые пальцы свисают в аудиторию, а голова профессора запрокинута на деревянную доску – «словно на эшафот французской гильотины», шепчет Двигубский на ухо Тургеневу.

– А тебе что – уж Париж снится? – спрашивает Тургенев.

– Точно могу тебе сказать: в Париже сейчас уже не то. Там в умах у всех некий генерал с острова Корсики – Буонапарте.

– Не слыхал такого, – говорит Тургенев. – Думается мне, что у парижан на уме прэнс Лудвиг Нормандский и легитимные Бурбоны, вроде прэнса Конде.

– Ну уж, братец мой, ты оставь это матушке своей Катерине Семеновне, а мы – молодежь – думаем иначе. Оставайся тут со своими немцами, а я в Париж поеду.

– Von voyage! – говорит Тургенев, – Однако ж не мешай мне слушать.

– Народы Европы, – продолжал Сарториус, – не привыкли управлять сами собою. Да это и в порядке вещей с того дня, как деньги стали делать хозяйство. Сто лет тому назад никто из владетельных князей Франции и Германии и не подумал бы, что какой-нибудь кружочек из золота может решать судьбы царств и участи королей. Однако цены на хлеб становились все дешевле; владелец земель, который поставлял хлеб на мировой рынок, не мог выручить того, что он затратил на производство хлеба. Этот владелец, он же дворянин Франции, Германии, Англии и России, никак не предполагал, что хлеб будет стоить так дешево. Тем временем вырастали машинные фабрики. В народном хозяйстве появилась новая могучая сила. Что вы хотите с ней делать? У нее есть избыток капитала, избыток денег. Сейчас эта новая богатая

денежная сила бросается к господам дворянам и говорит: «Государство нуждается в золоте. Чтобы вы зря не брали с населения денег за хлеб, пустим иностранное зерно. На рынке падут цены на хлеб. Вероятно, это нам нужно, ибо чем больше денег в государстве, тем государство счастливее».

Так думали многие в прошлом столетии, так ошибочно многие думают и по сейчас, но, дорогие коллеги, это – ошибка, дорого стоящая ошибка *меркантилизма* прошлого века. В нынешнем столетии мы должны во что бы то ни стало пересмотреть теорию народного хозяйства XVIII столетия. Каждый из вас кушает кусок хлеба за обедом. Позволительно спросить вас: откуда этот кусок у вас в руках? В России, в тиранской стране, это все понятно – он дается дворянским детям даром, но кто в Германии и особенно в нынешней Франции возьмет этот кусок и по праву скажет: «Он мой, я его заработал»? Дорогие коллеги, в то время как верхушка населения имеет все, нынешний крестьянин не имеет ничего.

– Хорошо он говорит, – произносит на ухо Яншину Саша Тургенев.

– Молчи, дурак, тебе отрубят голову, – отвечал грубо Яншин.

– Итак, дорогие коллеги, – продолжал Сарториус, – система хозяйства в государстве, предложенная экономистами прошлого столетия, есть система торгового барыша и прибыли. Ясно, конечно, что если человек стремится увеличить барыш в своих сундуках с мешками золота, то он должен, дабы всякое неравенство исчезло, разделить общество на два правильных класса: один зарабатывает и укрывает, другой – страдает, обливаясь потом лица своего. Благородный дворянин, обеспечивающий правильную жизнь и от нищеты спасающий своего виллана, обязанного ему крестьянина, несомненно больше заботится о мужицком достатке, нежели нынешний купец, торговец и предприниматель. Человек, думающий о наполнении замшевого мешка золотыми монетами, менее полезен, чем простой трудолюбивый человек, мечтающий об увеличении реальных, настоящих благ государства.

– Знаешь, Тургенев, он, по-моему, фритредер, он сторонник свободной торговли, он хочет уничтожить пошлину на продукт.

– А может, так и нужно делать, чтобы население не голодало, – возражает Тургенев. – Что из того, что денег много, а есть нечего?

Сарториус продолжал:

– Система прошлого столетия есть система завоза и накопления в государстве большого количества монеты. Это, дорогие коллеги, чистейший меркантилизм, унаследованный от старинных веков процветания богатого купечества. Знаете вы латинское слово «меркатор», что значит продавец. В Венеции целый квартал назывался «Мерканти». Мифологическое божество древних римлян, способствовавшее всевозможным коммерческим сделкам, называлось «Меркурий». Отсюда французское слово «маршандиза», что значит купля-продажа. Увлечение большой наживой амстердамского дома величайших европейских банкиров Фугеров создало в государствах особое стремление делать все, дабы накоплять в государстве золото, покровительствовать вывозу и препятствовать ввозу чужеземных товаров. Но, дорогие коллеги, все имеет свои пределы. Господа купцы вскоре убедились, что вывоз простого деревенского продукта хлебного зерна или муки – повышает цены на эти продукты в той стране, из которой их вывозят. Какое из этого надобно было сделать следствие? Только одно. Применить обратный закон к хлебному рынку, а потом объявить свободный ввоз хлеба в свою страну по пониженным ценам и тем самым заставить своих производителей зерна понизить цену на хлеб в своей стране. Население возблагодарило создателя после такой мудрой меры, но равновесие в торговле было сим актом нарушено.

– Ничего не понимаю, – говорит Яншин на ухо Тургеневу. – Скажи, как, по-твоему, он за или против меркантилизма?

– Таким образом получается естественное следствие меркантилизма – вмешательство правящей власти в дела рынков. Это вмешательство, дорогие коллеги, именуется протекцио-

низмом. Государство поощряет одних и препятствует другим. Меркантилизм и протекционизм теснейшим образом связаны друг с другом.

– А, знаешь, – это очень интересно, – говорит Тургенев Яншину, и свинцовый карандаш, шурша по бумаге, быстро записывает основные мысли преподавателя.

– Но, дорогие коллеги, наступает новая эпоха. Новый век стучится в ворота истории и требует, чтобы мы возвестили наступление свободы торговли. Правительство не может вмешиваться в то, что должно осуществляться в силу естественных законов. Одна и та же природа породила людское племя и хлебные злаки. Если одно служит на пользу другому, то это лишь в силу божественного предназначения человека. Все бесконечно разнообразные продукты, производимые нынешней усложненной индустрией, могут оказаться за пределами человеческих потребностей, если у человека нет куска хлеба. Следственно, первейшая забота государства есть обеспечение свободного развития зернового хозяйства. Пора знать вам, дорогие коллеги, что *нужды* управляют государствами, что потребности и интересы формируют общество и что продукты, естественно поддерживающие жизнь человека, – суть первая и основная потребность государства.

– Я так и знал, что он физиократ, – говорит Александр Тургенев.

– А я думал, что он сторонник свободной торговли, сиречь фритредер, – говорит Яншин.

– Какая разница между этими двумя учениями? Одно дополняет другое, как изнанка и лицо, – сказал Александр Тургенев.

Раздался звонок. Студенты, деканы, профессора и педели высыпали в коридоры, в галереи и покрыли собою широкие лестницы.

Георгия Августа – это название университета в Геттингене. Основан он был в 1734 году; из маленького ганноверского учебного заведения сделался крупнейшим центром европейской культуры начала XIX века. Речка Лейна, протекающая совсем у подошвы горы Хайнсберг, хорошо видна из окон библиотеки. В простенках – большие желтые шкафы из ясеня, за стеклами видны кожаные тисненные переплеты трех тысяч рукописей на латинском и немецком языках. Полмиллиона книг в просторных, тихих, прохладных коридорах.

– Сладостна здесь наука, – говорит Александр Тургенев. Галич не слушает. Другие студенты тоже мало обращают внимания на восторженное состояние девятнадцатилетнего Саши. Молодые люди в украшениях из пестрых лент разных корпораций снуют по коридорам. Коротенькие козырьки шапочек, носы, изрезанные рапирами, губы, надорванные остриями, широкие шрамы и черные пластыри на физиономиях студентов, лица, слегка одутловатые, розовые и красные от огромного количества пива, мелькают перед Тургеневым.

Подходит Яншин, наклоняется к Тургеневу и шепчет:

– Что ты вечером сегодня делаешь?

– Думал писать письмо матушке и батюшке.

– Ну, так вот, посылаю тебя к матушке со всеми вытекающими отсюда последствиями, но ты дрянью будешь, ежели не поедешь с нами ночью, при факелах, в ущелье Хайнсберга. Туда едет вся русская колония и вся студенческая Ганноверская корпорация.

– А что там такое?

– Там цыганский табор, и два наших студента подрались из-за цыганки. Случай небывалый, биться будут на старинных мечях, в кольчугах, при свете факелов.

– Фу, черт возьми, – говорит Тургенев, – надо ехать.

Глава девятая

Вечером от восьми до девяти Тургенев сидел с Яншиным, русские студенты пели русские песни. Александр Иванович читал письма, полученные из России. Оказывается, и старший брат уехал за границу, в Вену, для зачисления в русскую миссию при графе Разумовском. «При Иване Петровиче остались младшие братья – Николенька и Сережа», – думал Тургенев. Яншин, сильно подвыпивший, заливаясь соловьем, выводил какую-то длинную песенную руладу, закинув глаза высоко и играя на гитаре. Играл он мастерски, пел с упоительным увлечением. Тургенев смотрел на него и думал: «Добрый малый и с хорошим душевным расположением, но как общение с немецкими графами, с этими драчунами-студентами, отвлекло его от учения». Продолжая думать, Тургенев говорил себе: «Однако я в сутки сижу двенадцать часов без разгибу, сплю, как монах, пять часов, самое большое, в надежде отоспаться в гробу после смерти. Но ведь этак можно раньше времени накликасть гробовой сон. Надо непременно ходить до усталости, а то спина не гнется. Надобно ехать сегодня повеселиться. Хотя что за веселье будет, ежели у самых развалин замка Плесе будет драка на старинных мечях. Грубые люди все-таки эти немцы! А в горах там красиво, с самых высоких белых утесов падают и разбиваются в брызги горные ручьи, что при лунном свете дает зрелище ослепительное. «Поеду», – решил Тургенев и хотел обратиться к Яншину с напоминанием, как вдруг на улице раздался крик, звон и дробный барабанный бой. Тургенев, Яншин и все студенты бросились к окну. Страшное зарево окрасило горизонт. Множество студентов бежало по улице. Все кричат:

– Feuer, Feuer, Bursche heraus! [*Пожар, пожар, бурши, выходите! (нем.)*]

Тургенев быстро оделся и побежал к месту пожара. Стечение народа было большое, но, к удивлению Тургенева, почти никто не принимал участия в тушении пожара. Равнодушные зрители его возмутило. Он быстро вбежал в горящий дом и стал помогать охваченным паникой жителям в спасении их имущества. Он перебегал из комнаты в комнату. Немецкое жилище обнаруживало перед ним свое устройство и навыки хозяев. При большой чистоте отведено слишком много места всевозможным заботам о желудке. Неуклюжесть и громоздкость обстановки поразила Тургенева во мгновение ока. Он не успел осмотреть долго и внимательно ни одной комнаты, потому что заметил, что, то ли от клубов едкого дыма, то ли потому, что не было уже надобности вытаскивать имущество, он внезапно остался один. Лестница, по которой он вошел, провалилась, он толкнул ногой дверь в комнату и увидел на постели ребенка с широко раскрытыми глазами, кашляющего от дыма, но нисколько не напуганного. Он взял его на руки и бросился в коридор. Там дышать невозможно было от жары. Выбив раму, Тургенев вышел на крышу. Это был низкий чулан, примыкавший к зданию, покрытый каким-то мягким промасленным ковром. На воздухе дышать было легче. Языки пламени уже лизали окна комнаты, из которой вышел Тургенев. Недолго раздумывая, он подполз к водостоку и через пять минут стоял на маленьком черном дворе около водяного чана, полного до краев. Ребенок спал у него на плече. Передав его шутцману, Тургенев побежал домой и, не раздеваясь от усталости, закопченный, продымленный и опаленный, заснул и не просыпался четырнадцать часов подряд.

Утром долго не мог понять, что с ним было. Он удивлялся только чрезвычайной холодности немцев. Он писал у себя в дневнике: «Отец, лишившийся взрослого сына, тужит о том, что воспитание его дорого ему стало и что сын умер, не успев вознаградить отца за понесенные издержки. Брат, потерявший брата, радуется, что ему достанется кафтан и сапоги покойного».

На следующий день ездили верхами. Тургенев писал: «Сейчас приехал верхом. Целый день был в движении и был в трех государствах: в Ганноверском, в Прусском и Кассельском. А у нас и дач трех помещиков нельзя в один день объездить». Тут же Тургенев записал анекдот: «Недавно случилось, что в прусской службе в одном полку находились отец и сын солда-

тами: первой провинился и осужден быть прогнан шесть раз сквозь строй. Полковник велел собраться полку всему; ему докладывают, что сын преступника также тут и просит избавить его от сей несносной должности; но сей настоял на своем повелении. Экзекуция началась. Сын наряду с прочими взял несчастное орудие; но могла ли рука его подняться на виновника бытия его? Он, вместо того чтобы давать отцу удары, при приближении его бросил к ногам его прутья и получил от надзирающего офицера за сие несколько сильных ударов; в другой раз поступил он так же и получил вдвое больше ударов; в третий раз узнает об этом полковник, подходит к нему и бьет жестоким образом. Вдруг воздействовало в солдате природное чувство: он схватил ружье и убил бесчеловечного. Все солдаты закричали: „Браво!“ Офицеры хотели усмирить их, но последовал всеобщий бунт, и они должны были уступить силе многолюдства».

Напротив, через улицу, поселилось французское семейство: старая маркиза, маркиза молоденькая и старый маркиз – генерал, бежавший из Франции и поселившийся там, где, по его мнению, он был дальше всего от Бонапартовых глаз. Тургенев познакомился со старым генералом. Узнал, что генерал Бонапарт – «выскочка из самой заурядной семьи», что он одерживает теперь победы, что с Французской республикой чрезвычайно трудно бороться. Генерал с горечью говорил, как многие его сотоварищи, титулованные дворяне, «продали свою шпагу этому проходимцу Бонапарту».

– А какие дикие нравы у этих французских якобинцев, – говорил генерал с горечью, – они к лучшим военачальникам покойного короля приставили военных комиссаров. Те требуют побед во что бы то ни стало, а если войско терпит поражение, то комиссар застреливает из пистолета генерала. Согласитесь сами, что невозможно служить в такой армии.

– Однако она все время одерживает блестящие победы, – заметил Тургенев. – Значит, армия сильна!

– Эту силу революционерам дает дьявол, – сказала старая маркиза. – Разве можно думать, чтоб какая-нибудь марсельская гольтьба или шатовьевский штрафной батальон из каторжников и галерников в красных шапках могли одержать победы над регулярными брауншвейгскими отрядами, а тем не менее эти регулярные отряды бегут при виде красных шапок бунтующих французских каторжников.

«Действительно, странно, – думал Александр Тургенев. – Если уж они говорят так, то, значит, республиканские войска непобедимы. Если это говорит французский эмигрант, ненавидящий французскую революцию, то, значит, эти слухи о французских победах верны. Однако не слишком ли они доверчивы ко времени и пространству? Время бежит быстро, и уже недалекие пространства отделяют ганноверские владения от полей сражения, на которых раздаются французские военные песнопения».

* * *

Тургенев подписался на немецкие журналы. За шесть талеров в год стал получать все, что выходит периодического в Германии.

Составил себе расписание слушать лекции профессоров истории всеобщей, истории русской, которую читал Шлёцер – автор знаменитого исследования о Несторе-летописце. Слушал лекции английского языка, изучал латинский язык, натуральное право, естественную историю, в первые годы главным образом ботанику. Время было разобрано до такой степени, что, начиная лекции с семи часов утра, Тургенев заканчивал свою работу в будни в одиннадцать часов ночи. Воскресенья он проводил за городом в полном и счастливом отдыхе. Эта огромная, напряженная работоспособность спасала его от многих неприятностей, свойственных жизни молодежи на чужбине. Товарищ Тургенева, молодой Успенский, менее работоспособный и менее дисциплинированный, поддался тоске и, прохворав две недели, должен был уехать обратно в Россию, так как не в состоянии был рассеять «чувства страстной и захва-

тывающей меланхолии», которая отравляла ему каждую минуту. Яншин был другого склада человек. Он пил вино, волочился, озорничал, шумел по улицам и сделался типичным буршем. Однако Тургенев охотно проводил с ним время. Он писал большие письма, начиная их каждый раз словами «Милостивый государь батюшка, милостивая государыня матушка». Он охотно выполнял поручения отца, высылал ему книги, которые в большинстве случаев не доходили. Он выслал отцу книгу Шатобриана, только что вышедшую в республиканской Франции и предвещавшую в недалеком будущем возврат французской литературы к идеалам и стремлениям королевского прошлого. Эта книга, «Гений христианства», беспрепятственно дошла из Геттингена в Москву.

По воскресеньям Тургенев любил выезжать из Геттингена. Граница была недалеко, можно уехать в Пруссию, можно уехать в Кассель, от ганноверского Геттингена все это было рукой подать. Наблюдения Тургенева аккуратно заносились на странички его дневника. Большая зеленая книга с конвертным клапаном и завязками по ночам исписывалась тончайшим, мелким, малоразборчивым почерком. По-русски он писал наблюдения о немецких князьях. Проезжая в кассельских владениях, Тургенев наблюдал, как женщины выполняют самые тяжелые полевые работы. Он допытался о причинах этого: корыстолюбивый кассельский ландграф торговал своими подданными. Во время американской войны он устраивал посадку на корабли своих рекрутов и довольно изрядно нажил на этой торговле войсками. Торговля эта производилась тайно, никто не мог с точностью указать матери, куда исчез ее сын, невесте, куда девался ее жених. Ходили темные слухи, но вслух об этом не говорили. В дневнике Тургенев писал: «Между прочими резкими чертами, характеризующими ландграфа и его корыстолюбие, достойна замечания следующая: чтобы сократить расходы на двор свой, выдумал он средство иметь истопников и не платить им никакого жалования. Он заставил отапливать свой дворец невольников, содержащихся под стражей и, следовательно, отягченных цепями. Но неприятный звук цепей, который раздавался с тех пор всякое утро в покоях и тревожил сладкий сон покоящейся его любовницы, заставил последнюю упросить его упразднить эту экономию».

Тургенев восхищался своими профессорами, особенно Шлёцером. Он с восторгом писал, как именно Шлёцер впервые, вопреки цензуре, осмелился написать о всех бесчеловечных и грязных поступках кассельского государя. В ответ на статистические вычисления Шлёцера о том, как пострадало население Кассельского ландграфства от продажи молодежи иностранцам, кассельский государь обратился к Шлёцеру с негодующим письмом за эти якобы клеветнические показания. Ландграф писал Шлёцеру, что ежели он чего не знает, то пусть обратится непосредственно к ландграфу. На это Шлёцер ответил: «Не знаю только одного, не знаю точного количества золотых мешков, которые получили вы от иностранцев за торговлю немецкой молодежью». На этом переписка прекратилась. Ландграф не ответил профессору.

Суббота. Профессор Шлёцер кончает лекцию. Он рассказывает о том, как всевозможные племена скрещивали пути своих караванов и кочевий на востоке Европы, он говорил о том, как нужда гонит одних и подчиняет других, он рассказывал увлекательным и живым языком о возникновении и исчезновении больших государств Азии и стремился внушить своим студентам мысль о том, как нужды и интересы больших и малых человеческих групп делают историю; как шлифуются и оттачиваются человеческое общество благодаря столкновениям острых и противоречивых интересов и как постепенно видоизменяются государственные формы. Зачастую поворачиваясь в сторону русских студентов, он произносит несколько фраз, блестящих, красивых, почти напыщенных, по-русски. Широким жестом он приподымает покровы тяжелых исторических туманов, осевших над старыми временами, он описывает события с такой яркой жизненностью, как будто сам был их участником, он заставляет воображение работать лихорадочно. Его сильная логика направляет мозговую работу аудитории. Студенты слушают затаив дыхание и провожают Шлёцера рукоплесканиями. Его заключительные слова совсем неожиданны. Он говорит о том, что во Франции произошла революция, что все страны идут к

народовластию, но вот на востоке появляются признаки новых исторических форм просвещения. Александр I собирается сделать в России шесть просветительных округов-дистриктов. В каждом округе будет университет, не просто университет, а центр просвещения, от которого будут зависеть школы разных степеней. Будет могучая школьная сеть, в которой каждая ступень есть подготовка к следующей. «Однако, – заканчивает Шлёцер, – все упирается в одно: необходимо уничтожить в России рабство».

Профессор Буле и профессор Мартене не читают сегодня лекций. Двигубский, Яншин и Тургенев выходят из университетских галерей, сдавши книги в библиотеку, и при выходе на большой университетской лестнице останавливаются и вопросительно смотрят друга на друга. Всем троем очень молодо и очень весело. Жизнь заманлива и интересна.

– Я хотел бы быть сейчас в гавани, наклониться с палубы белопарусного корабля, смотреть вот на такое же великолепное заходящее солнце и ждать, как поднимется якорь и в золотистую даль потянет и поманит тебя ветер туда, в неведомые, в удивительные страны, – сказал Двигубский.

– А я хотел бы стакан пуншу, – сказал Яншин.

– До гавани далеко, пунш от нас не уйдет, а пойдемте-ка лучше к Ганзену, возьмем трех лошадей, поедемте верхами до Миндена, – предложил Тургенев.

Сказано – сделано. Через два часа, сидя под огромными буками на высокой горе, трое молодых людей, положив шляпы, перчатки и английские стеки, уже беседовали над огромной долиной, в которой змеилась, протекая, голубая Фульда, ручьи бежали неподалеку, бесконечная долина, окруженная горами, покрытыми лесом, зеленела и золотилась в лучах заката, развалины замков на трех огромных уступах были позолочены лучами вечернего солнца. Старинный германский ландшафт, необычайно мирный и прекрасный, даже величавый в спокойном угасании вечеряющего дня. Красные, золотые, внизу клубящиеся, а сверху перистые облачка таяли и уплывали, тихо меняя очертания. В ближней зелени затихали птицы. И вдруг среди этой необычайной тишины, где-то очень далеко, почти беззвучно, словно попрыгивая, послышались один за другим четыре пушечных выстрела. Двигубский продолжал говорить, не слыша. Тургенев вслушивался не понимая, и только Яншин вскочил на ноги.

– Господа, это сражение!

Дневник Тургенева.

«8/20 мая (1803). Итак, французы уже близки к ганноверским владениям. Что-то последует с здешним университетом? Верно, просвещенные французы не потревожат муз, любящих и требующих более всего спокойствия. Под эгидой Минервы нам нечего опасаться.

11/23. Отправил письмо в Москву и в Лейпциг. Итак, мы можем теперь назваться осажденными. Беспреданно ожидают ганноверцы входа французской армии. Всех граждан призывают к присяге. Силою берут в солдаты, и беспреданно виден на улице новый привоз рекрутов. Сегодня ввечеру вели их. Жители с сожалительной миной смотрят на них. Я шел со своими товарищами и смеялся над пустыми приготовлениями ганноверского правления и над этой недисциплинированной кучей шалунов, которую берут под ружье. Женщины, увидевши, что мы смеемся, вскричали: «Und die Russen lachen!» [*Даже русские смеются! (нем.)*] А что же нам иначе делать, мы не имеем нужды трепетать.

Видно, что страх их не бездельной. Даже и за город никого из мужчин не выпускают.

13/25 июня. Писал письмо к брату. Итак, я уже не в королевских, не в ганноверских владениях, но... ура! в республиканских французских. Государственные гербы здешнего курфюрста поневоле уступили место

французскому равенству и вольности. Ни на одном уже казенном доме не скачет конь ганноверского дома. Везде республиканский девиз «Liberte, egalite» [*«Свобода, равенство» (франц.)*]. Войско сдалось на постыдную капитуляцию. Французы господствуют. Депутация здешнего университета кончилась с изрядным успехом. Французы сумели поддержать о себе мнение как о просвещеннейшей европейской нации и хотят оставить геттингенских муз в покое. Генерал Мортье отвечал профессорам нашим – Мартенсу и Blumenбаху: «L'universite de Guettingue sera respectee dans tous les rapports possibles» [*К Геттингенскому университету отнесутся с возможным уважением (франц.)*]. Разумеется, поставят сюда немногочисленный отряд».

Андрей Кайсаров каждый раз приходит к Александру Тургеневу читать московские письма. Потом Тургенев за одним столом, Кайсаров за другим два часа строчат обширные послания в Москву все тому же Ивану Петровичу Тургеневу, любимцу русской студенческой молодежи в Геттингене.

За его здоровье пили первые бокалы на студенческих пирушках, именуя Ивана Петровича «Другом человечества». Ему исповедовались во всех литературных сомнениях и ересях, ему писали о своих увлечениях шиллеровскими трагедиями и произведениями веймарского писателя Гете. Ему рассказывали лекции профессора Буттервека о Петрарке, о его удивительной любви к Лауре. Восторженно сравнивали Петрарку с Васильем Андреевичем Жуковским, который в тот год стал уже замечательным стихотворцем. Александр Тургенев только Кайсарову доверял свои семейные дела. Ни Двигубский, ни Яншин, ни другие студенты не были в такой мере близки семье Ивана Петровича, как Андрей. Лирическая настроенность Тургенева не встречала насмешек со стороны друга. Кайсаров лучше других понимал весьма утонченные и сложные переживания своего приятеля.

– Знаешь, друг Андрей, – говорил Александр Тургенев, – я смотрю вокруг себя и не узнаю вещей и природы. Кажется мне, что выветриваются остатки прошлого века, скидывается штукатурка, а под ней вместо старых бревенчатых стен обнаруживаются камни и железо новых невиданных строений. Не уловляю этих перемен в ясности, но кажется мне, что меняется облик вселенной и тают образы всем знакомых предметов прошлого века.

– Старое стареет, – сказал Кайсаров, – стареет и отмирает. Отмерла старая Франция придворных поклонов, париков, мушек и фижм. Послушай, какие дерзкие вещи говорят французские офицеры в ресторации Ганзена. Они на весь мир смотрят, как на свою собственность. И я уверен, что замыслы их идут очень далеко.

– Ты прав, когда говоришь, что старое стареет. Вот уже батюшка вышел в отставку. В последнем письме он пишет о том, как уже съехали с Моховой улицы, купив дом на Маросейке, и туда поселились. Андрюша приехал, и все три брата в Москве. Пишут, что отец уже стар и только матушка одна посещает московские балы усердно. Во мне два чувства борются. Очень хотел бы видеть отца и братьев, но так привязался я к Геттингену и к наукам, так я чувствую себя на месте, что с боязнью думаю о разлуке с этим прекрасным городом.

Бросив письма на почту, Кайсаров и Тургенев свернули в переулок, вошли в калитку большого тенистого сада и, пройдя мимо цветочных клумб к обрывистому берегу, сели на прекрасную веранду господина Ганзена, где подавалось лучшее в Германии пиво и где студенты собирались для товарищеских обедов. Столы были полны/ Среди студентов, ничем не выделяясь, весело говорил, поднимая бокал в правой руке, молодой безусый студент баварской корпорации. С ним спорили два французских офицера; господин Ганзен, грузный, но веселый и насмешливый, стоял неподалеку, бросая острые словечки. Безусый студент прекрасно говорил по-французски. Французы обращались к нему, называя его «сiтоуен» [*Гражданин (франц.)*], студент с ними спорил и говорил, что еще одна коалиция – и Французской республике конец. Что будет тогда с Францией? Офицер оживился и заговорил с жаром:

– Едва наши свободные крестьяне успели засеять поля, как аристократы, продавшие Францию, двинулись с наемными войсками. Франция всех отшвырнула от своих границ, но так как вы упрямо добиваетесь гибели моей родины, так как вы упрямо добиваетесь царства аристократов, то нам приходится идти против вас и завоевывать ваши пределы. Мы всюду скинем королей, мы всюду напишем великие слова нашей революции. Да здравствует свободный Ганновер! Дапогибнут англичане, правившие этой немецкой землей!

Студент поднял бокал и осушил его залпом. Французский офицер протянул ему руку.

– Моя фамилия Бланки, – сказал он безусому студенту.

– Я счастлив, – сказал студент, пожимая руку французу. – Меня зовут Людвиг, я – наследный принц баварский.

Француз отступил, сверкая глазами. Воцарилось неловкое молчание. Потом раздался смех. Француз подошел к прилавку и, бросив три пятифранковых монеты, воскликнул:

– Плачу за всех, сдачи не нужно!

Это была щедрая плата. Когда французы ушли, господин Ганзен показывал всем новую французскую монету. Красивая чеканка. На монете портрет Бонапарта с надписью: «Первый консул». Вместо точки – изображение петуха в самой гордой и воинственной позе с огромными шпорами, а по краям надпись: «Бог покровительствует Франции».

– Однако, – сказал Кайсаров, – что-то последнее время французы часто стали поговаривать о боге. Должно быть, Бонапарту понадобилась помощь римского папы.

Вечером Тургенев был на чаепитии у Шлёцера. В большой старинной зале шлёцерской квартиры собралось восемьдесят человек. Среди них Тургенев заметил баварского принца и французского генерала-эмигранта, ослепшего еще при короле и теперь проживающего в Геттингене вместе с красавицей дочерью. Для того чтобы не чувствовать стеснения, Тургенев быстро выпил три бокала шампанского. Немецкий принц пил также не мало. Оба захмелели, речь стала веселей, оба подтрунивали над тем, как молодой венгерский граф Текели, пользуясь слепотой старого француза, целует его дочь, в то время когда генерал осыпает бранью Бонапарта и нынешнюю Францию.

– Однако нравы стали вольные, – сказал Тургенев.

Принц пожал плечами и засмеялся.

Слепой французский генерал бушевал, крича:

– Этот вор и бандит осмелился убить герцога Энгиенского! Сын какого-то корсиканского чиновника, островитянин, где половина населения занимается воровством и грабежом, безродный выскочка, которому во что бы то ни стало нужно рядиться в римские одежды, называть себя первым консулом, управляет Францией!

Венгерский граф, кончая танец, подвел дочку генерала к креслу и быстрым, почти незаметным движением поцеловал ее в висок.

– Венгерская контрибуция с Франции, – трунил принц.

Генерал продолжал:

– За один этот год были два обширных заговора – Пишегрю и Кадудала. Если бы хоть один из них удался! Этот господин консул, очевидно, застраховал свою жизнь у самого черта.

Шлёцер подошел к Тургеневу. Веселый, насмешливый и умный старик, пожимая руки своему студенту, говорил:

– Ну, что же, поздравляю. Ваш Александр учредил министерства, я читал его указы об уничтожении пыток и ограничении телесных наказаний. Я считаю, что указ о вольных хлебопашцах, разрешающий, наконец, помещикам освободить крестьян целыми деревнями, есть хорошее начинание. Пожалуй, при таких условиях в России все пойдет мирным путем.

– Господин тайный советник, – сказал Тургенев, – я надеюсь, что вы не проводите аналогии между Людовиком Шестнадцатым и Александром Первым.

– Дорогой мой, у вас нет третьего сословия, нет сильной буржуазии, у вас почти неизжитый феодальный быт. Только поэтому я не провожу аналогии, – ответил Шлёцер, улыбаясь умными светлыми глазами.

Тургенев смотрел в эти прозрачные, горящие искрами ума глаза и чувствовал, что весь образ мыслей Шлёцера ему непонятен, что сколько бы он, Тургенев, ни просидел в Геттингене, он никогда не получит этой изошренной гибкости мозга и этого блеска ума, обогащенного большими знаниями и постоянным упражнением ненасытной, огромной мысли.

– Не будем загадывать вперед, – сказал Шлёцер, – нынешние страны Германского союза могут только завидовать России. У вас уже открыты университеты в Харькове и Казани, у вас открыты гимназии, уездные училища. Александр хорошо начинает. Надо иметь в виду, что французский сенат и государственный совет тоже не дремлют. Во Франции строятся политехнические школы, создается новый гражданский кодекс, выравнивающий людей всех сословий. Люди без роду и без племени, как говорят русские (эти слова Шлёцер произнес по-русски), могут достичь высоких степеней в государстве. Конечно, немножечко смешно, что они рядятся в греческие и римские одежды. Им все-таки хочется разыграть древних греков. Через столетия легенд и преданий своей героической аристократии безродные французы протянули руку братьям Гракхам, Бруту, Гармодию и Аристокитону. Это ведь тоже неплохо, хотя пахнет театром. Во всяком случае, обращение к античным героям для французских буржуа, поднявших красное знамя, было менее обидно, чем обращение к прошлому своей аристократии, которую они стремились уничтожить. В самом деле, французская аристократия ведь совершенно себя изжила, она уже перестала быть двигательной силой государства, она превратилась только в потребителя крестьянского труда. А тем временем французское купечество зрело, укрепляясь. Оно уже владело финансами и чувствовало себя хозяином страны. Перед французским богатым горожанином дворянин имел только одно преимущество – дворянскую грамоту. Теперь это преимущество ничего не стоит. Всякий француз может применять свои способности и свободно соревноваться с другим. Всякий солдат может стать генералом, не предъявляя дворянского патента. В России этих условий нет. Она вся распадается на дворянство и крестьянство. Царю нужно опираться на одно, чтобы управлять другим. Возможности у него неограниченны. Все дело в том, пожелает ли он ими воспользоваться.

Тургенев собирался заговорить, но подошел профессор Blumenbach и что-то шепнул Шлёцеру, отведя его под руку. Раздавался голос баварского принца:

– Драмы Шиллера – прекрасная вещь, но хорошо, что закрыли геттингенский театр, так как весь университет проводил там свое время. Театр был полон, аудитории пустовали. Что касается меня, то я Ганзена люблю больше, чем Шиллера. Мозельский виноград на меня действует лучше, чем «Орлеанская дева».

– Я знаю деву, которая на тебя действует лучше мозельского винограда, – произнес захмелевший студент, обращаясь к принцу-студенту.

Дружный хохот был ему ответом. Тургенев заметил, что из двери, пробираясь по стенке, подходит к нему Андрей Кайсаров с лицом, искаженным гримасой.

– Что с тобой делается? – спросил Тургенев.

– Пойдем домой.

– В чем дело?

– Дорогой скажу.

Быстро выбежали оба на улицу.

– Ты только дай мне слово не шлепаться в обморок и не вести себя, как баба, – сказал Кайсаров.

– Да не томи ты, скажи, в чем дело. Что-нибудь с матушкой, с батюшкой?

– Нет, с Андрюшей.

– Умер?

– Болен.

– Тяжело болен? Что с ним?

– Приехавши в Москву... захворал, две недели как... похоронили.

Несмотря на все свое мужество, Александр Тургенев не мог удержаться на ногах. Он пошатнулся и сел на деревянный тротуар, спуская ноги на мостовую.

– Нет проходу от пьяных студентов, – сказал какой-то почтенный немец, обходя Тургенева.

На утро пришли из Вены обратно письма Александра Тургенева к брату Андрею с известием, что «императорский секретарь Андрей Иванович Тургенев выбыл в Москву».

– Кто мог бы думать, что он выбыл из числа живых, – говорил Тургенев в минуты просветления после часов страшного отчаяния. Он буквально не находил себе места. Он брался за перо, чтобы писать в Москву, и не мог. Он судорожно брал первую попавшуюся книгу, чтобы не сойти с ума от горя и отчаяния, и через несколько минут, не могши прочесть ни строчки, видел, что держит опрокинутую книгу. Тогда начинал ходить по комнате, вспоминал, как в одном письме Андрей со смехом отзывался об искусственном и глупом титуле, придуманном для него на срок заграничной поездки. После многих мучений Александр Тургенев заснул. Ему снился самый неподходящий вздор. Он целовал хорошенькую кельнершу господина Ганзена и шептал ей на ухо какие-то студенческие нежности. Проснулся, обливаясь холодным потом, вторично проснулся, потому что первый раз проснулся во сне. Проснулся во сне и увидел себя у постели больного брата. Казалось, в жизни не любил он так его, как в эту минуту. Он ловит руку Андрея и говорит слабеющим голосом. Не помнит, что говорит, но слышит ясно: «Тебе жаль меня будет, братец!» Вторично проснулся от этих самых слов. Комната наполнена желтым светом. На столе мигает свеча. Свет бросает огромную тень на противоположную стену. Это не тень, а какая-то гигантская фигура. Мертвая и давящая тишина. Лучше бы не просыпаться. Предметы кажутся далекими, чужими. На сердце щемящая тоска и ужас оттого, что действительно проснулся и что все это верно, что Андрей где-то далеко, за две тысячи верст, уже лежит в отсыревшем гробу, глубоко под землей. Комната совершенно чужая. Весь мир совершенно чужой. Кругом непроглядная ночь, и только в этой комнате – желтый, мучающий глаза свет.

Тень на стене заколебалась. Это Кайсаров, сидя у письменного стола, перевернул страницу. Он читает всю ночь. Какое всю ночь? Оказывается, он вторые сутки у постели бредящего Александра Тургенева. Подходит. Снимает мокрое полотенце с головы Александра. Тут только Тургенев замечает, что волосы слиплись на лбу.

– Нельзя так предаваться горю, – говорит Кайсаров. – А все потому, что это первая смерть в дружной семье. Вы – баловни судьбы, Тургеневы.

– Боже мой, неужто будут еще и следующие? – спрашивает Александр.

– Будут, – говорит Кайсаров. – А для того, чтобы они были нескоро, приведи себя в порядок и будь как старший утешением старикам.

Глава десятая

Исполнялись всевозможные сроки. Старились старики, крепили юноши, рождались младенцы. Одно зрело, другое отмирало. Зима сменила осень, весна сменила зиму. И лето пришло на смену весне. Трехцветные знамена развевались над Парижем. Двенадцатый год над Европой ветры носили великую песнь марсельских федератов. «Марсельеза» снилась королям вместе с громом французских пушек, а ее автор, сорвав с себя погоны, бросил их под ноги генералу Карно, заявляя, что он не может служить во французской армии после того, как голова короля слетела с плеч. Природа делала и не такие шутки. История в эти годы не только смеялась, но хохотала. От ее громкого хохота давали трещины дворцы, казавшиеся вечными. От ее улыбки над зелеными равнинами Ломбардии появилось яркое солнце, уходили австрийцы, иезуиты и жандармы, возникали легкие отряды итальянской молодежи, мечтавшие о свободе и счастье людей. Первый консул все еще казался богом войны и революции. Но и это было только улыбкой истории. В 1803 году от республики осталась тень, и эта тень протягивала руку императорской короне. Во Франции третье сословие считало, что довольно играть с огнем. Для охраны кошельков нужна полиция. Послушный первый консул поручил хитрецу и ловкачу Фуше организовать розыски не только мелких воров, но и свободных французских мыслей.

– Республика хороша в той мере, в какой она выполняет мою волю, – говорил Бонапарт на докладах Фуше.

– Бонапарт хорош в той мере, в какой он сдерживает натиск санкюлотов и оберегает нашу собственность, – говорили французские банкиры и фабриканты. – Санкюлоты хороши, когда они режут аристократов, но когда они требуют дележа имущества, то им надо крикнуть: «Руки прочь!» Частная собственность священна.

С презрением говоря о рабской России, французские граждане, сидевшие в законодательных учреждениях, и не подумали о свободе колониальных рабов. Во французских колониях вспыхнули восстания цветных племен. Французских буржуа-колонистов резали с таким же восторгом, с каким восторгом парижские буржуа тащили на эшафот французских аристократов. Всему этому нужно было положить конец. Вот почему каждый буржуа радовался, видя каменную неподвижность и неумолимую энергию на лице Бонапарта. Огромная масса французов намагничивала эту бронзу, и, чувствуя, что он попал на гребень волны, Бонапарт выпрямлял свою маленькую фигуру и, поднимая руку навстречу молнии, считал себя в самом деле великим. В ранце каждого солдата был маршальский жезл. Опьяненная молодежь бредила войной и славой. Это были молодые горожане, отцы которых ставили в армию чулки и нитяные колпаки, военные сукна и металл, кожу и барабаны. По всей Европе катились волна несчастий и пьяная волна военного бреда.

* * *

Семнадцатого января 1804 года Александр Тургенев писал в дневнике о несбывшихся мечтах военной карьеры. В самом деле, какая тут военная карьера, когда умер старший брат и Александр теперь чуть ли не глава семьи! Отец пишет о том, чтобы он ехал для изучения славянских земель. Геттингенский университет кончен.

Дневник Тургенева.

«Итак, я не солдат, я не натуральный историк, я не курьер при иностранной коллегии, я не секретарь посольства. Что ж я? Адъютант русской древней истории при Санкт-Петербургской Академии наук. Воображал ли я, что через полтора года по моем приезде в Геттинген Шлёцер сделает мне

подобное предложение? Ах, милый брат Андрей, день ото дня чувствую более и более нужду в тебе. С кем посоветуюсь я? Ах, как все переменялось – все переменялось».

Началась длинная переписка с родителями. В конце концов Александр Тургенев не без досады писал отцу: «Я не знаю, с чего заключили вы, что мне очень хочется в Академию, я никогда не был мечтателем и никогда не хотел занимать профессорской кафедры». А Кайсаров в своем письме Ивану Петровичу писал по поводу предложения Шлёцера:

«Немецкий мечтатель рекомендует русского дворянина в профессоры». Очевидно, за время долгого отсутствия из России Александр Иванович сам недостаточно ясно представлял себе, куда готовит его отец. В глубине души он чувствовал симпатии к научной деятельности, но разбрасывался и ни на чем не мог остановиться надолго. Смерть Андрея коренным образом изменила планы Ивана Петровича Тургенева. Московские масоны собирались почти открыто. Сам Александр, казалось, вот-вот сделается мастером какой-нибудь ложи. Андрей Тургенев умер, не дождавшись посвящения. Все надежды Ивана Петровича и все стремления превратить старшего в семье в исполнителя поручений масонского союза теперь обратились на Александра. «Наука не есть вид общественного служения, – думал Иван Петрович. – Она завлекла Александра, но она замкнет его в узком круге интересов, а ныне предстоит обширная задача *создать Союз соединенных славян*. Пусть так и будет. Андрей Кайсаров, на мое мнение, производит прекрасное впечатление. Пусть он будет с Александром вместе».

Александр Тургенев повиновался родительской воле. Оставив разочарованного Шлёцера, простился он с Геттингеном. Приехавший купец Рахманов застал его в самый день отъезда из Геттингена. Рахманов рассказал, как разгоряченный на вечере Андрей пришел к матери Катерине Семеновне и та уговорила сына поесть мороженого.

«Оттого приключилась с Андреем Ивановичем горячка и прикончила его жисть, – добавил Рахманов. – А об вас, батюшка Александр Иванович, все дуже убивалися. Княгинюшка Щербатова и ваша тетушка Нефедьева целый вечер проплакали у матушки вашей, за достоверное передав, что вы убиты французами, которые из пушек стреляли в ваш ниверситет».

Двадцать восьмого марта, выезжая из Касселя, Тургенев отметил: «Вчера минуло мне двадцать лет. *Excidat aevo* – пусть выпадет этот несчастный год из жизни моей».

По дороге из Дрездена на Вену Тургенев просил соседа, одного из тринадцати пассажиров, сидевших в дилижансе, дать ему газетный листок, который тот не отрываясь читал и перечитывал, словно уставившись в одну точку. Это была французская консульская газета, которая именовалась «Газетой Защитников Отечества». Тургенев прочел и понял причину напряженного внимания француза. Двадцать восьмого флореаля (восемнадцатого мая 1804 года) сенат, под председательством Камбасереса, в Париже вынес решение, по которому учреждалась империя, а первый консул становился императором французов, хотя Франция по-прежнему именовалась республикой. Тургенев молча передал газету Кайсарову. Оба, не говоря ни слова и несколько смущенно оглядываясь по сторонам, вернули газету французу.

«Итак, – думал каждый, – якобинская республика кончилась, выскочка, сын корсиканского нотариуса, мелкий буржуа, французский офицер Бонапарт „вошел в семью“ европейских монархов под именем императора Наполеона I».

– Что такое флореаль? – спросил Кайсаров.

– А как же? Французский Конвент в тысяча семьсот девяносто третьем году провел предложение Фабра д'Эглантина, по которому двадцать второе сентября тысяча семьсот девяносто второго года, то есть день объявления республики, был назван первым днем нового челове-

чества. Каждый месяц в календаре д'Эглантина распадался на три декады по десять дней, и каждый месяц назывался по натуральным признакам в соответствии с погодой, промыслами и хозяйством.

– Да, помню, помню, – сказал Кайсаров.

Тургенев продолжал:

– Кажется первый месяц назывался вандемьер, второй – брумер, третий – фример, четвертый – нивоз, пятый – плювиоз, шестой – вантоз, седьмой – жерминаль, восьмой – флорель... Ну да, верно, это как раз восьмой месяц соответствует середине мая... Девятый, значит, будет – прериаль, десятый – мессидор, одиннадцатый – термидор и двенадцатый – фруктидор. Как видишь, здесь и ветры, и погода, и плоды, и овощи.

– Однако нигде, кроме Франции, этот календарь не принят, – заметил Кайсаров.

– Надо сказать, что новоиспеченный император довольно быстро движется по Европе. Боюсь, что в скором времени, кроме нашего отечества, этот календарь войдет в моду повсюду.

– Не дай бог, – сказал Кайсаров. – Еще французские меры веса и меры длины, которые они называют десятичными, пожалуй, умная вещь, ну а календарь... слуга покорный, я – христианин и этих языческих выдумок принимать не желаю.

– Ах, Кайсаров, ты понятия не имеешь о том, что может заставить принять или не принять война. Будем надеяться только на силу нашего отечества. Что касается Европы, то новоиспеченный император zalьет ее кровью.

Француз, читавший газету, обратился к русским студентам:

– Простите, я не знаю русского языка, но по всему вижу, что и вас волнуют вести из Франции. Я уверен, что ваши суждения об моем отечестве ошибочны. Англия виновата в войне, и если Наполеон Первый ведет войну, то он ведет ее ради чести и спасения республики. Уверю вас, что в самые тяжелые годы Англия затопляла Францию потоком фальшивых кредиток; пользуясь нашими невзгодами, она отняла все французские владения. Господин Брок поднимал всю Европу своей брошюрой, в которой он клеветал на французский народ только потому, что этот народ осмелился сбросить с себя иго дворянских цепей. Английский король Георг Третий объявил, что Франция угрожает человечеству. Именно поэтому в прошлом году первый консул объявил английскому посланнику Вайтворсу в Париже свое негодование: «Вы уже раз заставили нас вести десятилетнюю войну, теперь вы принуждаете меня продолжить ее на пятнадцать лет. Если вы обнажаете меч первым, то да будет вам известно, что я вложу его в ножны последним. Вы систематически нарушаете договоры». Известно ли вам, русской молодежи, что ровно год тому назад, на другой день после отъезда английского посланника, тысяча двести торговых судов и мирных кораблей Франции были захвачены англичанами в гаванях и в открытом море? Известно ли вам, что английские аристократы превратили французских матросов в рабов? Если это вам неизвестно, то узнайте это сейчас и поймите, что, как бы ни назывался генерал, отстаивающий свободу Франции, будь он президентом, императором, королем, герцогом – кем угодно, – но он будет вызывать любовь и верность третьего сословия уж потому, что он способен защищать наши пределы.

– Вы – прекрасный оратор, – сказал Тургенев, – а мы – плохие политики. Кажется, интересы моей и вашей родины, к счастью, не пересекаются.

– К счастью для вашей родины, – сказал француз.

– Милостивый государь, – воскликнул Кайсаров, – я считаю ваши слова дерзостью.

Публика в дилижансе заволновалась. Все тринадцать человек пассажиров заерзали на креслах и диванах, на скамьях и на имперiale кареты. Все ждали, что скажет француз.

Тихим голосом, слегка приподнимая шляпу правой рукой, француз ответил:

– Гражданин, я готов дать удовлетворение в любой форме.

– Кто вы такой? – спросил Кайсаров.

– Я – бельгийский оружейник, моя фамилия – Лепаж.

- Так это вы делаете лучшие дуэльные пистолеты в мире? – спросил Кайсаров.
- Да, это пистолеты системы моего деда.
- Сколько смертей разносит ваше изобретение! – заметил Кайсаров.
- Я не хотел бы, молодой человек, чтобы вы были в списке погибших. Я охотно беру назад свои слова о вашем отечестве.

К общему удовольствию, ссора кончилась благополучно. Кайсаров и Лепаж протянули друг другу руки.

* * *

Александр Иванович Тургенев писал из Вены 9 июля 1804 года:

«Милостивый государь батюшка! Милостивая государыня матушка!

Вчера я был у славного Галя, который изобрел новую систему, называемую кранеологиею. Я еще в Геттингене учился у ученика его и слышал об этом целую лекцию; но Галь говорит, что он ни одним учеником своим не доволен, что ни один не вникнул еще порядочно в его учение, и оттого публика ничего еще верного не знает. Его обвиняют, и, кажется, справедливо, материализмом; почему здешнее правительство и запретило всем своим подданным слушать его лекции, и одни только иностранцы могут пользоваться ими. Впрочем, как ни говори, а система его очень вероятна, как скоро видишь такое множество ощутительных доказательств, беспрестанно подтверждаемых опытами; только должно было быть необыкновенному человеку, чтобы сделать в этом самое первое наблюдение. Но я еще ни слова не сказал о самом деле. Он говорит, что человек рождается с известными органами и что мозг, действуя на череп, образует их. У одного может их быть больше и в сильнейшей степени, нежели у другого; но воспитание, однако ж, может или мешать, или способствовать их развитию. Весь череп расчерчен у него, и каждому органу показано особое место. Орган сыновней любви, например, или родительской любви находятся вместе с органом храбрости и с многими другими в затылке; органы остроумия, памяти и других находятся во лбу. Если у кого какого-нибудь органа недостает, то там есть впадина. Вероятнее и интереснее делается его система тогда, когда он в человеческом черепе показывает те самые органы, какие находятся на самом том же месте и у известных животных; например, у хитрого и лукавого человека на самом том же месте есть возвышения или орган, на котором у известного хитрого зверя – лисицы находится также возвышение. Он уже множество имел случаев угадывать, ощупывая череп какого-нибудь человека, о добром или худом свойстве или о какой-нибудь способности. Недавно к нему пришел известной славной виртуоз (есть и орган музыки), выдавая себя за профессора математики, и просил его, чтобы он осмотрел череп его и сказал ему, к чему он наиболее способен. Галь при всех отвечал ему, что «вам бы не математиком, а музыкантом быть должно: у вас сильно действует орган музыки, а не математики». Таких примеров было множество не только с ним, но и с учениками его. Он долго делал наблюдения и долго не говорил никому о своем открытии, пока, наконец, удостоверившись во многом совершенно, стал говорить и учить публично; но ничего еще не писал сам о своей системе, а только ученики его, которыми он совсем недоволен, проповедуют его учение. Я с трудом достал в Геттингене довольно сходно с его расчерченный череп. Я спрашивал у него, не сходится

ли его система с Лафатеровой физиономикой; но он отвечал, что ни мало и что в Лафатеровой нет никаких основательных правил. Он предлагал нам сам прочесть несколько лекций о своей науке; но мы не имеем более времени, чтобы воспользоваться его предложением. Я наговорил так много, а для вас, может быть, это совсем не интересно. В таком случае простите моему празднословию.

Вчера же удалось мне быть и на здешней университетской лекции. Здесь образ учения университетского и порядок более сходен с нашим Московским (по крайней мере – с бывшим), нежели с другими (протестантскими) университетами Германии. Профессор спрашивает и взыскивает на ученике своем, чего бы не вытерпел наш брат, ни от кого не зависимый академической гражданин. У нас, то есть в Геттингене и в других университетах, скорее можно сказать, что профессор зависит от студентов, нежели наоборот. Хочешь – учишься, хочешь – нет, лишь заплати за свое место профессору; и кажется, эта свобода для взрослых гораздо лучше; а там иначе и быть нельзя. Но здесь есть также факультетные директора, о которых ни в России, нигде не имеют понятия. Они имеют право ходить к профессору здешнему на лекцию и взыскивать на нем, если он худо читает; имеют право предписывать ему учебную книгу, по которой он должен преподавать свою лекцию; могут рассматривать и не одобрить собственную его или им выбранную. Это ничего не знают тамошние профессора. Здесь все это ведется еще от времени езуитов, которые хотели держать ученых в узде и располагать умы учащихся, как им хотелось. Иосиф II отменил было это, но теперешний император снова восстановил своих ученых деспотов. Однако ж благодаря Иосифу теперь и здесь говорят и пишут довольно свободно. Оттого, что здесь профессорам дается жалованье, положенное от правительства, и что они ничего не берут с студентов, они не очень и пекутся о том, ходят ли охотно, или нет к ним на лекции. У них нет этой побудительной причины, как в других университетах, учить лучше своего товарища и перебить у него слушателей для того, чтоб получить большее количество денег. Притом же и студенты здесь в совершенной зависимости от университетского правления. Они не могут слушать того профессора, которого им хочется, но того, которого следует по порядку учения. Теперь опять начинают здесь читать на латинском языке.

Недавно был я в славном Шенбруннском саду и жалел, что здесь нет никого из наших университетских медиков, которые бы могли больше меня воспользоваться им. Сад этот разделен на три части. В одной гуляют, другая назначена для одних только медицинских растений, а третья – для всех редких иностранных. В последней есть чему подивиться, особливо когда видишь в одно время сочное растение Южной Америки и наше. Порядок и просмотр везде прекрасный; но зато и три главных садовника, кроме славного Жакеня, который сам часто бывает в саду.

На следующей неделе и мы непременно отправляемся отсюда. Милых братьев целую от всего сердца. Препоручая себя родительским вашим благословениям, с чувствами глубочайшего почтения и совершенной преданности честь имею быть,

милостивый государь батюшка,
милостивая государыня матушка,
вашим покорнейшим сыном

Ал. Тургенев»

Следующие письма были уже из Будапешта. В столице венгерского королевства Тургенев «видел на бале цвет венгерского народа. Одно уже национальное платье делает бал великолепным. Все обшито золотом и серебром, особливо магнаты, составляющие знатнейшее дворянство. Танцуют в шпорах. Здесь еще, как в старину прошлого века, без менуэта бал не начинается. Однако здесь простой народ или мужики и к народу не причисляются, а только одно духовенство. Магнаты и дворянство составляют народ. Последние сии классы не платят никаких податей, и привилегии дворянства простираются до того, что если какой-нибудь магнат убьет мужика, его никто не смеет арестовать, и он пользуется свободой неограниченной и дикою до тех пор, пока не осудят его, что, впрочем, никогда не случается, ибо в этом месте Европы до сих пор одерживает верх право сильного или богатого».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.